

Даугава

В НОМЕРЕ:

О. ВАЦИЕТИС
Секретный
указ короля

Е. ГИНЗБУРГ
Крутой
маршрут

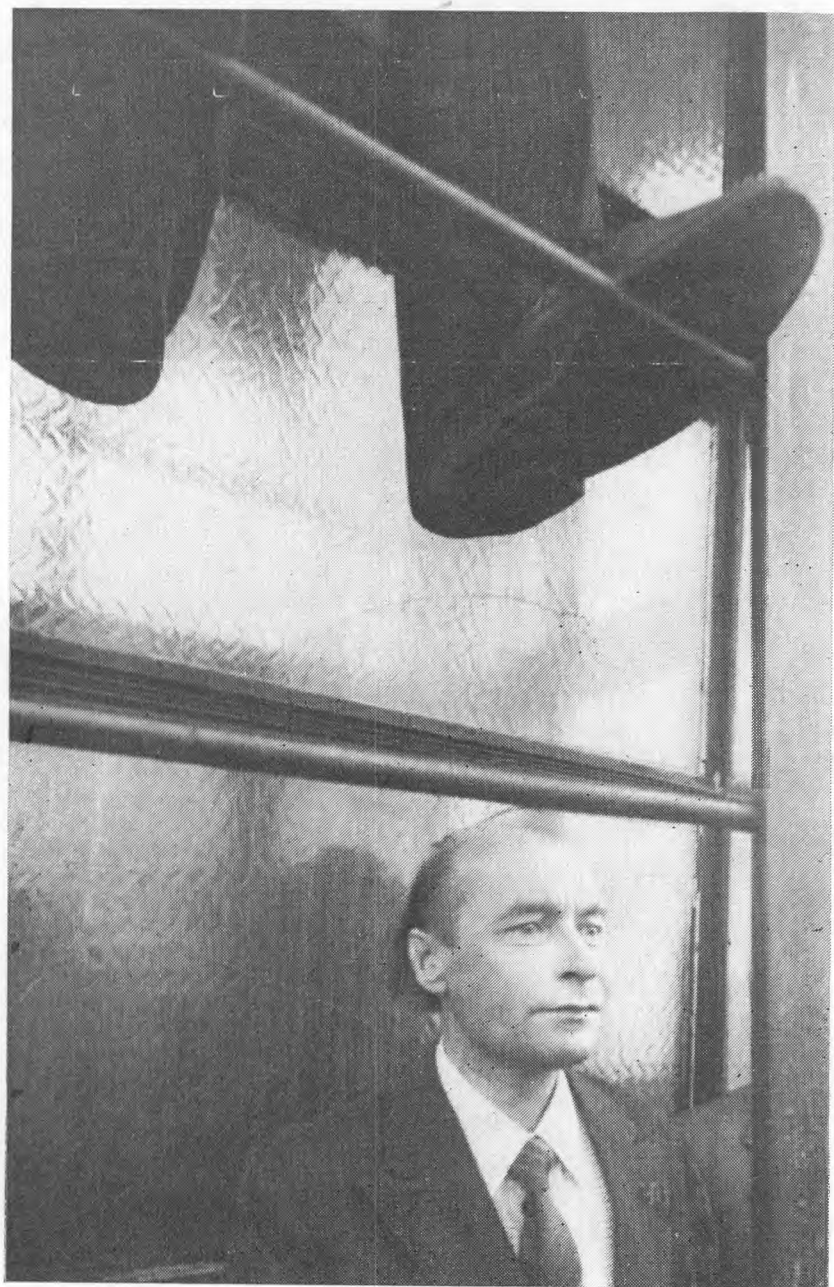
А. ЯКУБАН
Последняя
жена
Медвежатника

Этот мрачный
пятьдесят
девятый . . .

1988

11





Народный поэт Латвии Оярс Вацietис.

Фото Вильгельма Михайловского

Дзугава

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛ
СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ ЛАТВИЙСКОЙ ССР.
ИЗДАЕТСЯ С ИЮНЯ 1977 ГОДА

11 (137)

НОЯБРЬ
1988

В Н О М Е Р Е:

Проза и поэзия

ЕВГЕНИЯ ГИНЗБУРГ. Крутой маршрут. Хроника времен культа личности. Продолжение	3
Воспоминания об Оярсе Вацietисе	44
ОЯРС ВАЦИЕТИС. Секретный указ короля	48
АНДРИС ЯКУБАН. Последняя жена Медвежатника. Рассказ	58
СЕРГЕЙ МОРЕЙНО. Ветви. Стихи	69

Публицистика

ЯНИС ЛАПСА. Этот мрачный пятьдесят девятый . . . Беседа с Вилисом Круминьшем и Индрикисом Пинкисом	74
ИЛАН ПОЛОЦК. Олег Хлебников: «Я мечтаю о поэзии «Огонька»	85

Культурология

БОРИС М. ГАСПАРОВ. Из наблюдений над мотивной структурой романа М. А. Булгакова «Мастер и Маргарита». Продолжение	88
СУРЕН ЗОЛЯН. «Вот я весь . . .». Вступление В. Руднева	98

К нашим иллюстрациям	104
(см. на обороте)	

ИЗДАТЕЛЬСТВО
ЦК КП ЛАТВИИ
РИГА

В Н О М Е Р Е (окончание):

Меморіа

ГЕРАСИМ ЛУГИН. Московские ночи. Предисловие	
Юрия Абызова	105
ВАЛЕРИЙ САЖИН. «Я дружкой был, как выстрелом, разбужен . . .». Вступительная заметка и публикация Н. Крайневой и В. Сажина	112

Мастерство перевода

АМАНДА АЙЗПУРИЕТЕ. Утерянная единственность	119
--	-----

Обзоры, размышления, рецензии

ГАРРИ ГАЙЛИТ. Зачем Ноасу Ноев ковчег!	122
---	-----

Почта «Даугавы»

Вспомним семью Слепковых	127
Ради здоровья народа	128
Давайте спорить	128

Рукописи не рецензируются и не возвращаются

Главный редактор

Владлен ДОЗОРЦЕВ

Редакционная коллегия:

Юрий АБЫЗОВ, Виктор АВОТИНЬШ (отв. секретарь), Людмила АЗАРОВА, Астрида АЛЬКЕ, Улдис БЕРЗИНЬШ, Николай ГУДАНЕЦ, Юрис ДИМИТЕРС, Вика ДОРОШЕНКО, Вячеслав ИВАНОВ, Марина КОСТЕНЕЦКАЯ, Петр КРУПНИКОВ, Григорий НИКИФОРОВИЧ, Янис ПЕТЕРС, Кнут СКУЕНИЕКС, Ян СТРАДЫНЬ, Янис СТРЕЙЧ, Роман ТИМЕНЧИК, Леонид ЧЕРЕВИЧНИК (зав. отделом), Адольф ШАПИРО, Андрис ЯКУБАН (зам. главного редактора).

Редакция

Сергей КОЛЬЦОВ, Илан ПОЛОЦК, Вадим РУДНЕВ



КРУТОЙ МАРШРУТ

Хроника времен культа личности

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

Глава третья

ТРАНЗИТКА

Итак, настало утро. Утро 7 июля 1939 года. Мы все шли и шли. Предчувствие знойного дня уже настигало нас. Но пока что нам в лицо бил какой-то удивительный воздух, пахнувший свежее-выстиранным бельем. Мы жадно глотали его. Он точно смывал с нас грязь седьмого вагона. Дорога то поднималась, то опускалась, и на всем ее протяжении нам не встретился никто: ни человек, ни машина, ни лошадь. Точно вымер весь мир. И только нас, последних, домучивает иссякающая жизнь.

Мне казалось, что я сплю на ходу. Сплю и вижу во сне запах моря и пустынную дорогу. Только стоны и крики возвращали меня к реальности. Крики, как ни странно, были радостные. Это вчерашние слепцы радостно вопили: «Вижу!» Еще не все усвоили, что с наступлением вечера им предстоит ослепнуть снова.

Суздальские куда слабее нас, ярославок. Со своими бритыми головами они казались все одинаковыми, точно сошедшими с какого-то конвейера, фабрикующего ужасы.

Путь нескончаем. До сих пор не знаю, сколько там было километров. Конвоиры совсем осипли от окриков, овчарки тявкают лениво, как безобидные дворняги. Становится все жарче. Только бы не упасть . . . Ведь впереди транзитка, вожденная транзитка, где мужскую зону от женской отделяет только колючая проволока, где мы можем встретиться с мужчинами, с НАШИМИ мужчинами. Впереди, значит, шанс на встречу с мужем . . . Мы с готов-

Продолжение. Нач. см. «Даугава», № 7—10.

ностью верим этой легенде, рожденной безнадежно устаревшим тюремно-лагерным опытом наших эсерок и меньшевичек. Эта безумная надежда и ведет сейчас полуживые тени через непонятные спуски и подъемы нашего пути под все более яростным дальневосточным солнцем.

Вот и ворота транзитного лагеря. Они густо оцеплены колючей проволокой.

— Гав-гав-гав, — оживились конвоирующие нас немецкие овчарки, чуя близкое завершение своей ответственной миссии.

— По пяти, по пяти, проходи в ворота! — неистовствуют конвоиры, подталкивая вперед падающих.

В зоне вдоль проволочного ограждения стоят женщины, масса женщин. На них вылинявшие, заплатанные, рваные платья и кофточки. Женщины худы, измождены, лица их покрыты грубым пятнистым загаром. Это тоже заключенные, но они лагерницы. Их не коснулось мертвящее дыхание ярославских и суздальских одиночек. Женщины эти напоминают толпу нищих, беженцев, погорельцев. Всего только. А мы... Мы пришли из страшных снов.

И эта мысль отчетливо прочитывается на лицах, встречающих нас лагерниц. Ужас. Пронзительная жалость. Братская готовность поделиться последней тряпкой. Многие из них плачут открыто, глядя на нас, наблюдая, как мы серой нескончаемой лентой пролетаем в ворота. Доносятся приглушенные реплики:

— Ежовская форма... Бубновый туз...

— По два года и больше в одиночках...

— Тюрзак...

Тюрзак... Страшный зверь по имени тюрзак... Этому злоеющему слову суждено почти десять лет висеть на наших шеях, подобно тяжелой гире. Тюремное заключение...

Мы были худшими среди плохих. Преступнейшими среди преступных. Несчастнейшими среди несчастных. Одним словом, мы были самые-рассамые...

Не сразу мы осознали тяжесть своего положения. Только позднее нам стало ясно, что, в отличие от Ярославля, где все мы были относительно равны, в этом новом круге дантова ада не было равенства. Оказывается, население лагерей делилось на многочисленные, созданные дьявольской фантазией мучителей «классы».

Впервые услышали мы здесь слово «бытовики». Это лагерная аристократия — лица, совершившие не политические, а служебные преступления. Не враги народа. Просто благородные казнокрады, взяточники, растратчики (с уголовниками, скрывающимися под тем же деликатным названием, мы встретимся немного позже. На транзитке их еще нет).

Бытовики очень горды тем, что они — не враги народа. Они люди, искупающие свою ошибку преданным трудом. В их руках все командные должности, на которые допущены заключенные.

Нарядчики, старосты, бригадиры, десятники, дневальные — все это в подавляющем большинстве «бытовики».

Затем начиналась сложная иерархия «пятьдесят восьмой» — политических. Самой легкой статьей была пятьдесят восемь-девятая. «Анекдотисты», «болтуны», они же по официальной терминологии «антисоветские агитаторы». К ним примыкали и обладатели буквенной статьи — КРД (контрреволюционная деятельность).

В большинстве случаев это были беспартийные. По лагерным законам этой категории можно было рассчитывать на более легкий труд и даже иногда на участие в администрации из заключенных. Реже проникали туда заключенные по статье ПЕША (подозрение в шпионаже). Самыми «страшными» до нашего прибытия были так называемые КРТД (контрреволюционная троцкистская деятельность). Это были лагерные парии. Их держали на самых трудных наружных работах, не допускали на «должности», иногда в праздники их изолировали в карцеры.

Наше прибытие влило бодрость в каэртедешников. В сравнении с тюрзаком, прибывшим из политизоляторов, осужденных Военной коллегией по террористическим статьям, меркли «преступления» КРТД. Прибыла мощная смена для работы на лесоповале, мелиорации, на колымском сенокосе.

По существу различие между нами и КРТД состояло в сроках ареста. Они — так же как и мы, в основном коммунисты — были арестованы раньше нас, когда давали еще чаще всего КРТД 5 лет. Мы же, взятые в разгар ежовщины и бериевщины, получали уже по 10, а потом и по 20—25 лет тюремного заключения. Причем получался своеобразный парадокс: так как раньше брали тех, кто хоть как-то был связан с оппозицией, то в составе каэртедешников были люди, некогда голосовавшие неправильно или воздержавшиеся при голосовании. А среди наших, несмотря на большие сроки и жестокий режим, сложившийся благодаря особенностям времени нашего ареста, преобладали ортодоксальные коммунисты, работники партийных аппаратов, партийная интеллигенция, не состоявшая в оппозициях. Но кто обращал внимание на это несоответствие?

— У патриархальных немок полагалось класть в основу жизни три, даже четыре «К» — Киндер, Кюхе, Кирхе, Клейдер, — шутили на транзитке наши, — а у нас сейчас складывается жизнь на четырех «Т» — троцкизм, терроризм, тяжелый труд.

И еще шутили в связи с медицинскими осмотрами, которые мы проходили на транзитке:

— Дышите, — говорит врач, прикладывая ухо, и спрашивает: — Какая статья?

— Тюрзак . . . 10 лет . . .

— Не дышите . . .

Да, дышать было трудно. С цинизмом, уже никого не удивлявшим, лагерная медицина «комиссовала» в строгом соот-

ветствии со статьями и пунктами. Тюрзакам полагался «тяжелый труд» — первая категория здоровья. И ее ставили. Достаточно сказать, что за четыре часа до смерти «первую категорию здоровья» получила Таня Станковская.

Впервые мы столкнулись здесь с лагерной медициной и нам открылось новое в профессии врача. Во-первых, эта профессия может спасти ее обладателя от гибели потому, что он почти всегда нужен как врач, даже если у него «тюрзак». Во-вторых, врачу в лагере труднее, чем всем прочим смертным, сохранить душу живую, не продать за чечевичную похлебку совесть, жизнь тысяч товарищей. Его искушают ежеминутно и теплым закутком в «бараке обслуги», и кусочками мяса в баланде, и чистой телогреечкой «первого сорта». Мы еще не знали, кто из наших товарищей-врачей устоит против соблазнов, кто выстоит (это стало видно уже на Колыме). Но все сразу заметили, что, став членом медицинской комиссии и прикрыв ярославскую формочку белым халатом, а бритую голову косынкой с красным крестом, Аня Понизовская из суздальской тюрьмы сразу перестала горбиться, а в голосе ее зазвучали металлические нотки, пока еще, впрочем, довольно мелодичные.

Транзитка представляла собой огромный, огороженный колючей проволокой, загаженный двор, пропитанный запахами аммиака и хлорной извести (ее без конца лили в уборные). Я уже упоминала об особом племени клопов, населявших колоссальный сквозной деревянный барак с тремя ярусами нар, в который нас поместили. Впервые в жизни я видела, как эти насекомые, подобно муравьям, действовали коллективно и почти сознательно. Вопреки своей обычной медлительности, они бойко передвигались мощными отрядами, отъевшиеся на крови предыдущих этапов, наглые и деловитые. На нарах невозможно было не только спать, но и сидеть. И вот уже с первой ночи началось великое переселение под открытое небо. Счастливчикам удавалось где-то раздобыть доски, куски сломанных клеток, какие-то рогожи. Те, кто не сумел так быстро ориентироваться в обстановке, подстилали на сухую дальневосточную землю все тот же верный ярославский бушлат.

Я никогда не забуду первую ночь, проведенную на транзитке под открытым небом. После двух лет тюрьмы я впервые видела над своей головой звезды. С моря доносилось дыхание свежести. Оно было связано с каким-то обманчивым чувством свободы. Созвездия плыли над моей головой, иногда меняя очертания. Со мной снова был Пастернак . . .

Ветер гладил звезды
горячо и жертвенно . . .
Вечным чем-то,
Чем-то жидущим, своим . . .

Мелодию этих стихов пела почти на одной ноте телеграфная

проволака. Воздушные волны с моря окончательно пересилили терпкий запах хлорки. Делаю над собой усилие — и вот я ощущаю почти счастье. Ведь до утра, когда надо снова начинать жить, еще далеко. А сейчас — стихи и звезды и совсем недалеко море. Я снова напоминаю себе, что Владивосток — это порт, что отсюда ежедневно в далекие неведомые края устремляются пароходы. И, может быть, «Транзитка» — это только название парохода, на котором мы едем . . .

Закрываю глаза, отдаваясь головокружительной встрече с природой после такой долгой разлуки. Плыдем, плывем . . . Куда же он, наш Ноев ковчег? Мерцают над ним звезды, мерцают наши жизни — огоньки на ветру, зыбкие, неверные . . .

Утром, когда в предрассветных сумерках обозначились все цвета и оттенки, я замерла от восторга, увидев в углах двора редкие кусты крапивы и огромные пыльные лопухи. Они ошарашили меня своим зеленым великолепием. Я совсем забыла о ядовитом нраве крапивы, любясь ее красотой. А доверчивые добродушные лопухи . . . Они ведь пришли сюда из дальней страны моего раннего детства, попали в такую даль с нашего арбатского переулочного заднего двора.

— Подъем! Завтрак!

Еду привезли в походных кухнях, и мы сразу выстроились в огромные очереди. Давали очень горячую баланду и даже какие-то смертоносные «пирожки», от которых сразу удвоилось количество так называемых «поносников», составлявших наиболее многочисленный отряд нашего этапа.

Первые три дня, пока шла медицинская «комиссовка», наш этап еще не посылали на работу и время уходило больше всего на новые знакомства. С жадностью недавних одиночников мы говорили и не могли наговориться с лагерницами, большой этап которых находился здесь, на транзитке, уже больше месяца. И снова — судьбы, судьбы . . . Безумные по неправдоподобности и в то же время доподлинные. Трагические по сути, но часто состоящие из серии комических по своей несообразности эпизодов.

— Где-то мы с вами, товарищ, определенно встречались, — возбужденно говорила Софья Межлаук — жена заместителя Молотова, на этапе лагерниц, глядя на нашу Таню Крупеник.

— Да, мне ваше лицо тоже знакомо . . . Одно из двух: или мы видели друг друга в правительственном доме отдыха или в Бутырской тюрьме . . .

Все мы старательно разматывали клубок времени в обратном направлении. Каждая начинала с момента ареста, и в тысячный раз мы слушали варианты все той же сказки про великого Людо-еда. Лагерницы знали куда больше нас. Во-первых, большинство из них были арестованы позднее, во-вторых, их режим, куда более мягкий сравнительно с нашим, допускал некоторое общение с вольными во время работы.

В тот день, когда я сидела в сторонке от всех, потрясенная смертью Тани Станковской, ко мне подошла молоденькая

девушка с милым, похожим на крепкое яблочко лицом и сказала тихо:

— Не мучайтесь так о подруге. Здесь умирают слишком часто, чтобы позволять себе так реагировать на смерть. Переключите мысль на другое. Например, на вашу семью, там, на воле. Остался кто-нибудь?

— Дети . . . Родители . . . Муж взят.

— Так вот. Я работаю за зоной. Пишите письмо. Опущу в ящик. Получат.

Возможность послать маме письмо, не имея в качестве соавтора ярославского цензора! Это уже чего-нибудь стоит . . . И я усеиваю два крохотных блокнотных листика микроскопическими буквами, чтобы больше уместилось. Блокнот, из которого девушка вырвала эти два листика, сунув его обратно довольно небрежным движением в карман, кажется мне настоящим чудом, как будто она вынула из кармана горсть бриллиантов. И так небрежничать с такой вещью! Окончательно захлебываюсь от изумления и восторга, когда моя благодетельница с такой же небрежностью дает мне конверт . . . Настоящий конверт с маркой!

Я все еще не верю счастью и отдаю ей готовое письмо с таким чувством, с каким, наверно, потерпевшие кораблекрушение бросают в море бутылки с мольбой о помощи.

Эта двадцатидвухлетняя Аллочка Токарева из лагерного этапа (статья КРД — срок 10 лет), почувствовавшая ко мне симпатию, была в течение всего месяца, проведенного мной на владивостокской транзитке, моим добрым гением. Она очень тактично и доброжелательно вводила меня в новый для меня мир, обучала лагерному «savoir vivre».

— Когда будут всякие документы на вас заполнять, — учила она меня, — говорите, что вы до филологического училища на медицинском и дошли до четвертого курса.

— Зачем? — поражалась я.

— Если на Колыме понадобятся медсестры, это ваше медицинское образование могут вспомнить. Будете медсестрой . . . В помещении. Не на кайловке, не на лесоповале . . .

— Так ведь это ложь! Я ведь все равно не смогу работать медсестрой . . .

— Чего там не смочь! Людям еще лучше, если порядочный человек на такой работе. Будете доходить спасать. Взятки брать от них не будете . . .

— А лечить?

— Не смешите . . . В лагере лечат одним — освобождение от работы на день-два . . .

— Не могу врать . . .

— Надо научиться . . .

Такие речи в устах молодой девушки с круглым ребяческим «яблочным» личиком казались продолжением великого безумия.

Но на первых порах я была не очень понятливой ученицей и сразу же испортила отношения с личностью, облеченной великой

властью, с некоей Тамарой, носившей высокий титул «начальника колонны».

Тамара была первым настоящим лагерным «придурком», с которым меня свела судьба. Как ни странно, она была политическая «пятьдесят восьмая». У нее даже, кажется, было КРТД. И уж если она, несмотря на эту статью, сумела занять такую должность, то значит . . . Но все это мне стало ясно позднее. А тогда, узнав, что Тамара — бывший комсомольский работник из Одессы, я запросто подошла к ней с вопросом, не прибыли ли вместе с нами и наши личные вещи с Ярославки. Вопрос этот был для меня очень острым, потому что красные домашние тапочки, которыми я измерила сотни километров по одиночной камере, совсем развалились, бахил мне не выдавали, и я оказалась практически совсем босиком. В личных моих вещах находились мои старые, но еще вполне крепкие черные туфли, и я мечтала о них страстно, даже во сне их видела.

Свой вопрос я задала, конечно, в самой вежливой форме, называя Тамару товарищем, как принято было у нас, транзитов.

— Видала малахольную? — обратилась Тамара к своей заместительнице из бытовичек, следовавшей за ней по пятам.

Красивое правильное лицо Тамары, нормально окрашенное в розовый цвет и выделявшееся этим среди наших серо-желтых лиц, стало красным от гнева. Как я узнала потом, она принадлежала к типу тех «придурков», которые всегда находятся в состоянии «подогрева» и ждут только случая, чтобы напустить на кого-нибудь.

— Чемоданы ваши еще не прибыли, мадам-туристка, — издевательски бросила она мне в лицо. — И товарищем меня не зови! Свиней с тобой вместе не пасла . . . А по делишкам своим обращайся к своему старосте, а не ко мне . . .

Все это она кричала фальцетом, постукивая кулаком по столу, привлекая к себе и ко мне всеобщее внимание. Ее гнев на меня за нарушение субординации, за тон равной полыхал не меньше пяти минут.

Я углубила инцидент, сказав в ответ:

— Извините, вы действительно не товарищ, — я ошиблась.

Нажила себе ни с того ни с сего могущественного смертельного врага. Это обрело конкретные очертания уже на третий день, когда меня, еле стоящую на ногах от истощения, цинги, дистрофического поноса, направили на работу по разгрузке каменного карьера.

Между прочим, некоторые одесситки, знавшие Тамару «по воле», говорили, что до ареста она была очень хорошей дивчиной, активной комсомолкой, приветливой и доброжелательной к людям. Потом я нередко встречала образцы такого полного смещения личности в условиях лагерной борьбы за существование. Преждее оказывалось у некоторых вытесненным окончательно. На его месте возникал другой человек, и этот человек был страшен.

Это были как бы деревянные куклы-марионетки, без привязанностей, без душевной жизни и, главное, без памяти. Такие люди никогда не вспоминали о воле, о человеческом периоде своей жизни. Эти воспоминания обременяли бы их.

Одесситки, находившиеся на транзитке, отлично знали это и никогда не подходили к Тамаре как старые знакомые. Став Иванов, родства не помнящим, она этим как бы ограждала себя от осуждения своих поступков, а главное — тех событий, жертвой которых стала и она сама. Ее постоянное состояние «подогрева» и так называемая «раздражительность», то есть готовность скандалить и оскорблять людей, находящихся под ее властью, объяснялись презрением к людям и подспудным страхом перед ними. Своих многочисленных угодников и подхалимов Тамара снисходительно презирала. Тех же, кто молчанием и взглядами показывал, что понимает механизм ее деятельности, она остро ненавидела и преследовала.

Я своим наивным обращением «товарищ» вызвала в ней воспоминания о том прошлом, которое она считала несуществующим, которое мешало ее сегодняшней карьере. Поэтому она и ответила мне таким взрывом. После столкновения с ней я стала догадываться о сущности этого психологического типа, выявленного условиями лагерей. И всегда при встрече с Тамарой вспоминала строки Блока:

«Как страшно мертвецу среди людей
живым и страстным притворяться!
Но надо, надо в общество втираться,
скрывая для карьеры лязг костей».

Много таких духовно мертвых людей я встречала потом на своем лагерном пути. В тюрьме таких не было. Тюрьма, особенно одиночная, наоборот, возвышала людей, очищала их нравственно, раскрывала все глубинные алмазы и золотые россыпи души.

. . . В каменном карьере мне довелось узнать, что такое каторжные работы. Установилась июльская жара. Беспощадные дальневосточные прямые ультрафиолетовые лучи. От камня даже на расстоянии пышет адским жаром. И главное — мы, больше двух лет не видевшие лученышка, отвыкшие в одиночках от всякого физического действия, больные цингой и пеллагрой. . . После доконавшего нас седьмого вагона. Именно нам предстояло справиться с этими земляными и «каменными» работами, требующими даже от мужчин большой силы и выносливости.

Удивительно, как редки были на этом солнцепеке солнечные удары. Я вспоминаю только два случая. Один раз это была Лиза Шевелева, личный секретарь Елены Стасовой по коминтерновской работе. Она потом умерла в магаданской больнице заключенных, сразу после морского этапа. Другой была Верико Думбадзе, девочка, арестованная за отца в возрасте 16 лет. Их отнесли на тех же носилках, на которых мы таскали камни, в боль-

ницу, но уже через два дня обе были снова выписаны на работу.

В уме все время проносились разные книжные ассоциации. Новая Каледония. Жан Вальжан на каторге. Каторжник, прикованный к тачке . . . Вот как оно, оказывается, выглядит все это в жизни.

Придурки транзитки, не уставая, твердили нам, что эта работа — суший рай для наших статей и сроков. Ведь с нас пока не требуют нормы. А еду дают как за сто процентов. Вот на Колыме будет другое. Там норму подай! А здесь так, просто передышка для вас в ожидании морского этапа. Несмотря на такой либерализм, у многих из нас открылись на ногах трофические язвы. По ночам, хоть они и проходили под открытым небом, трудно было заснуть от натруженного дыхания, стонов и вскриков сотен голосов. На зубах все время скрипела каменная пыль.

У многих уже начиналось лагерное отупение. Они уже научились смотреть как-то точно сквозь туман, точно мимоходом и на умиравших, и на больных куриной слепотой, бродящих по вечерам с поводьями, протягивая вперед дрожащие руки, и на орды клопов, ползавших по нарам. У некоторых даже появилась уже страшная нищенская привычка выставлять свои трофические язвы и лохмотья оборвавшейся ежовской формочки напоказ.

Но это было меньшинство. Огромное большинство активно сопротивлялось. Еще любовались и летучими утренними туманами, и удивительными фиолетовыми закатами, горевшими над нами в час возвращения из каменного карьера, еще радовались близкому соседству с огромным флотом, которое ощущалось каким-то шестым чувством. И стихи . . . Мы все еще читали их друг другу по ночам. Мы все еще жили в том сладостно-горьком мире чувств, которым так щедро дарила нас ярославская одиночка. Я инстинктивно чувствовала: пока меня волнует и этот ветер, и эти пламенные звезды, и стихи, — до тех пор я жива, как бы ни тряслись ноги, как бы ни гнулся позвоночник под тяжестью носилок с раскаленными камнями. Именно в том, чтобы сохранить в душе все эти последние сокровища, и заключалось теперь сопротивление наступающему на нас страшному миру.

Уже появились среди нас люди, затосковавшие по одиночным нарам.

— Честное слово, было лучше. Все-таки было чисто. И были книги. И не было этого отупляющего скотского труда.

— Если бы нас не вывезли, мы бы умерли там все не позднее будущего года от цинги . . .

— А сейчас! Вы думаете дожить до будущего?

. . . Однажды на рассвете, когда в разрывах облаков еще трепетали побледневшие звезды, весь наш табор был разбужен Надей Лобициной. Надя была эсеркой и, несмотря на свой тридцатилетний возраст, казалась нам живым анахронизмом. Очки, старомодная прическа и манера говорить — все это были детали образа курсистки девятисотых годов. Но в этот момент Надя вела

себя как таежный следопыт или вождь краснокожих из майнридовской книжки. Она приложила ухо к земле и слушала, приподняв палец. Потом вскочила с доски, на которой спала, и свистящим шепотом объявила:

— Идут! Этап идет . . . огромный . . . Мужчины, наверно! Мы ведь говорили вам . . .

Многие с сожалением посмотрели на Надю. Галлюцинации? Психоз? Ничего удивительного . . .

Но эта фантастика оказалась чистой правдой. Этап пришел. Огромный мужской этап, параллельный нашему, тоже тюрзаковский, из Верхнеуральского политизолятора. Тоже одиночки. Тоже в основном коммунисты. Мужчины, НАШИ мужчины!

Так сбылось предсказание эсерок в одной своей части. Только встречи с родными стали теперь, при гигантском масштабе всего действия, почти невозможны. Я уже писала, что одной только Павочке Самойловой посчастливилось встретить брата.

Нас не гонят от проволоки, отделяющей нашу зону от мужской. И мы смотрим, смотрим не отрывая глаз на плывущий перед нами мужской политический этап. Они идут молча, опустив головы, тяжело переставляя ноги в таких же бахилах, как наши, ярославские. На них те же ежовские формочки, только штаны с коричневой полосой выглядят еще более каторжными, чем наши юбки. И хотя мужчины, казалось бы, сильнее нас, но мы все жалеем их материнской жалостью. Они кажутся нам еще более беззащитными, чем мы сами. Ведь они так плохо переносят боль (это было наше общее мнение!), ведь ни один из них не умудрится так незаметно выстирать бельишко, как это умеем мы, или починить что-нибудь . . . Это были наши мужья и братья, лишенные в этой страшной обстановке наших забот.

— Бедный, и пуговку некому пришить . . . — вспомнил кто-то эту формулу женской любви из раннего эренбургского романа.

Каждое лицо кажется мне похожим на лицо моего мужа. У меня уже ломит виски от напряжения. Кругом меня все тоже вглядываются. И вдруг . . .

Вдруг кто-то из мужчин, наконец, заметил нас:

— Женщины! НАШИ женщины!

Я не умею описать того, что произошло потом. Не нахожу слов. Это было подобно мощному электротoku, который разом одновременно пронизал всех нас, по обе стороны колючей проволоки. Как ясно было в этот момент, что в самом сокровенном мы все похожи друг на друга! Все подавляемое в течение двух долгих лет тюрьмы, все, что каждый поодиночке носил в себе, вырвалось наружу и бушевало теперь вокруг нас, в нас самих, казалось, даже в самом воздухе. Теперь и мы и они кричали и протягивали друг другу руки. Почти все плакали вслух.

— Милые, родные, дорогие, бедные!

— Держитесь! Крепитесь! Мужайтесь!

Кажется, такие или приблизительно такие слова кричали с обеих сторон.

После первого взрыва начались поиски своих. В ход пошла география. Причем партийная география. Так как огромное большинство заключенных мужчин — это были арестованные коммунисты, то переключка, начавшаяся между нами, выглядела примерно так:

— Ленинград — обком партии!

— Из Днепропетровского обкома комсомола есть кто?

— Уфимский горком! Здесь ваш первый секретарь!

Потом начали перебрасываться «подарками». Душевное напряжение жаждало излиться действием. Каждый по обе стороны хотел отдать что-то свое. Но ни у кого ведь ничего не было. И началось такое:

— Возьмите вот полотенце! Оно еще не очень рваное!

— Девочки! Котелок кому надо? Сам сделал, из краденой тюремной кружки . . .

— Хлеб, хлеб держите! После этапа ведь отощали вы совсем . . .

Сразу начались бурные романы. Эти человеческие существа, уже почти бесплотные, соприкоснувшись друг с другом, сразу, как по волшебству, приобрели утраченную от безмерных страданий остроту восприятия мира. Завтра их разведут в разные стороны, и они никогда больше не увидятся. Но сегодня они взволнованно смотрят в глаза друг другу через ржавую колючую проволоку и говорят, говорят . . .

Более высокой, самоотверженной любви, чем в этих однодневных романах незнакомых людей, я не видела в жизни. Может быть потому, что тут любовь действительно стояла рядом со смертью.

Ежедневно мы получали от наших мужчин длинные письма. Коллективные и индивидуальные. В стихах и в прозе. На засаленных листочках бумаги и даже на обрывках тряпок. В трепетной чистой нежности этих писем выливалась их поруганная мужественность. Мы были для них собирательным образом женственности. Они цепенели от тоски и боли при мысли, что над нами, ИХ женщинами, проделывалось все то нечеловеческое, через что прошли они сами.

Я помню начало первого коллективного письма. «Родные вы наши! Жены, сестры, подруги, любимые! Как сделать, чтобы вашу боль переложить на нас? . . .»

Несмотря на то, что и в мужской и в женской зонах была масса народа, знакомых «по воле» почти не было. Те, кто встретил хотя бы земляков, считались счастливчиками. Из Казани в этом этапе был смешной молоденький татарский поэт, бывший детдомовец, избравший себе увлекательный псевдоним — Гений Республиканец. Но за то, что он из Казани, я прощала ему даже этот псевдоним. Часами мы с ним стояли у разделяющей нас проволоки, без конца перечисляя казанские фамилии. Просто фамилии. Как заклипания. Как подтверждение того, что они не приснились мне,

все эти ученые, поэты, партийные работники. Что на свете живут не только жандармы, придурки, вохровцы и доходяги.

Судьба этого мужского этапа была трагична. Их очень быстро, не дав оправиться после поезда, стали грузить на пароход для отправки на Кольмусу. От транзитки до порта надо было идти пешком сколько-то (порядочно!) километров. В день этапа произошла какая-то задержка с выдачей хлеба, и мужчин погнали голодных. Пройдя несколько километров по солнцепеку, они стали падать, а кое-кто и умирать. Остальные тогда сели на землю и заявили, что, пока не выдадут хлеба, они дальше не пойдут.

Организованные протесты случались не часто среди привычных к дисциплине заключенных — бывших коммунистов. Охрана и конвой обезумели. С перепугу наделали много лишнего. Они толкали мертвых сапогами по методу лекарей бравого солдата Швейка («Уберите этого симулянта в морг!»). Они убили несколько волочивших ноги людей «при попытке к бегству». А остальных все-таки пришлось вернуть на транзитку еще на неделю.

Как всегда после взрыва репрессий, стали немного подкармливать. Участились те самые смертоносные «пирожки», баланда стала гуще. Пирожки эти, как теннисные мячики, летали через проволоку, потому что наши милые товарищи все хотели отдать их нам, а мы не брали, перебрасывали обратно, уверяя, что очень сыты.

Аллочка Токарева, у которой завязался пламенный роман с одним парнем из Харькова, простаивала у проволоки целые ночи напролет. Глаза ее горели фанатичным блеском. От ее лагерного благоразумия не осталось и следа. Она готова была, если надо, броситься с кулаками на «начальника колонны» — самодержицу Тамару. Но та смотрела очень равнодушно на «эту беллетристику». Никакой серьезности она не усматривала в платонических излияниях у проволочного заграждения.

— Пусть их — лишь бы счет сходился при проверке... На то и транзитка...

... Наша бригада по разгрузке каменного карьера становилась все меньше. Авитаминозный понос косил людей, превращал их в тени. В больницу, как правило, попадали только явные смертники, да и то не все. Остальные лежали вповалку на земле или на нарах, вскакивая ежеминутно, чтобы бежать в уборную. Те, кто еще держался на ногах, приходя с работы, подавали больным желтую, пахнущую гнилью воду из бочек, а иногда, придя в отчаяние, бежали за «лекомом», который совал грязными пальцами в раскрытые высохшие рты таблетки салола.

Сроки пребывания на владивостокской транзитке были очень различны и для отдельных заключенных, и для целых этапов. Для некоторых это был только перевалочный пункт, с которым расставались через несколько дней. Другие находились здесь целыми месяцами. А отдельные придурки, сумевшие приспособиться

биться к требованиям здешнего начальства, жили здесь годами.

Пути из транзитки шли в разные стороны. Господин УСВИТЛ (управление северо-восточных исправительно-трудовых лагерей) был богатым помещиком. Его экономии расстилались на огромных просторах этого края. Но тюрзаку, как правило, путь лежал только на Колыму. Странная психологическая загадка — это слово, пугавшее всех на воле, не только не пугало, но даже как-то обнадеживало нас, обитателей транзитки.

— Скорей бы уж в этап!

— На Колыме хоть сыты будем!

— Любой мороз лучше этого пекла!

В таких возгласах изливалась сокровенная потребность человеческой души в надеждах. Пусть самых призрачных. Очень влияли на настроение и те слухи о Колыме, которые распространяли по транзитке некоторые бытовики-рецидивисты, уже побывавшие там. Их рассказы, правда, относились к периоду 34—35-го годов, но все равно выслушивались с жадностью. Сдобренные хорошей дозой вранья и хвастовства, эти повествования создавали образ некоего советского Клондайка, где инициативный человек (даже заключенный!) никогда не пропадет, где сказочные богатства, вроде огромных кусков оленины, кетовой икры, бутылок рыбьего жира, в короткий срок возвращают к жизни любого доходягу. Не говоря уже о золоте, на которое можно выменивать табак и барахло.

— Самое главное, не тушуйтесь, девчата! Колыма — она всех примет, накормит и оденет! — так рассказывал желтоволосый молодой «придурок» по имени Васек-растратчик. Васек составлял списки этапов, всегда знал кучу новостей и охотно делился ими. Он бывал на Колыме уже дважды, а сейчас отбывал третий срок за растрату, совершенную в Магадане. Колымскому патриотизму Васька не было пределов.

— Что, жарко? — жалостливо осведомлялся он, проходя мимо нашей бригады каменщиков, изнемогавшей от зноя. — Ничего, скоро на Колыму поедете. Там прохладно.

И Васек запевал пронзительным голосом:

Колыма ты, Колыма, дальняя планета,
двенадцать месяцев — зима, остальное — лето...

По складу натуры Васек-растратчик был похож на горьковского Луку. Он не упускал случая утешить страдающего ближнего своего. Даже для больных куриной слепотой он находил слова надежды. И его жадно слушали.

— Ничего, девки, вам только до Колымы добраться бы! Там, знаешь, как морзверя есть будете? Килами! Прямо в зоне, в бочках стоит, вот как здесь вода! Живой витамин А, спроси хоть лекаря! Для глаз, главное дело, лучше нет. Как сжуешь куска дватри, — и все! И забудешь про куриную слепоту.

И для пожилых женщин, которых в этапе было, правда, немного, но которые страдали больше нас, молодых, Васек-растратчик изыскивал радостные перспективы.

— Не тушуйся, мамаша, само главно — не тушуйся! На Колыме ты еще не старуха будешь. Там знаешь, как говорится? Сорок градусов — не водка, тысяча верст — не дорога, тысяча рублей — не деньги, шестьдесят градусов — не мороз, а шестьдесят лет — не старуха! Мы тебя, мамаша, еще замуж отдадим, увидишь!

И хотя всем было ясно, что Васьковы рассказы надо, как говорили наши следователи, «перевести на язык тридцать седьмого года», все ж его речи об обетованной земле, стране Колыме, как сладкий яд, проникали в сознание многих.

Все чаще стали наши бредовые ночи, наряду со стонами и скрежетанием зубов, прорезываться возгласами:

— Хоть бы уж скорее на Колыму!

И Васек-растратчик, ведавший этапными списками, стал частенько подмигивать нам, шепча своим утешительным голоском:

— Скоро уж!

Глава четвертая

ПАРОХОД «ДЖУРМА»

Это был старый, выдавший виды пароход. Его медные части — поручни, каемки трапов, капитанский рупор — все было тусклое, с прозеленью. Его специальностью была перевозка заключенных, и вокруг него ходили зловещие слухи: о делах, о том, что в этапе умерших эзков бросают акулам даже без мешков.

Нас почему-то долго не принимали на борт, и мы несколько часов качались в огромных деревянных лодках, стоявших на причале, у набережной. Экипаж «Джурмы» неторопливо подготавливал судно к рейсу. Мы видели матросов, гоняющих по палубе тяжелые веревочные швабры, видели капитана и штурмана, бесцеремонно разглядывавших нас в бинокли.

День отплытия был пасмурный, с низкими неподвижными тучами над головой. Только временами в тучах возникали промоины и сквозь них просачивались столбы солнечного света. Куски грязновато-серой пены бились об иллюминаторы. Казалось, даже воздух насыщен тревогой и ожиданием беды. И все-таки ко всему примешивалось еще и любопытство. Ведь как бы то ни было, а мне предстоял первый в моей жизни морской переход.

Сидеть в лодке было очень неудобно и томительно. В тесноте затекали ноги, от голода и морского воздуха кружилась голова и все время подташнивало. Но самое ужасное — это было пение. Даже сейчас, спустя 25 лет, я краснею от стыда при воспоминании об этой «художественной самодеятельности», хотя лично я за нее не в ответе. Ведь это не мне и не моим друзьям пришла в голову идея затянуть задорные комсомольские песни.

Ира Мухина на воле была балериной, сидела по шестому пункту, за какой-то ужин с иностранными поклонниками своего таланта. Вид открывшихся перед нами водных просторов навел ее на мысль о Волге. Она запела:

— «Красавица народная, как море полноводная . . .»

Несколько голосов подхватило:

— «Как родина, свободная . . .»

— Замолчите, сейчас же замолчите, — кричала Тамара Варашвили, — где ваше человеческое достоинство?

— Чего ты хочешь от этой капеллы из края непуганых идиотов? — с гримасой глубокого отвращения перебивала ее Нина Гвинашвили.

Обиженные хористы демонстративно перешли на фортиссимо. Напрасно Аня Атабаева, бывший секретарь райкома партии из Краснодара, пыталась своим басовитым голосом перекричать их, убеждая, что в этой обстановке такое пение о свободной родине может быть воспринято как насмешка и вызов.

Ах, какой там вызов! Я лично восприняла этот хор как постыдное пресмыкательство. До сих пор с содроганием вспоминаю, как заулыбались капитан «Джурмы» и его штурман, как они зашептались и стали передавать из рук в руки бинокль, чтобы получить разглядеть оригинальных любителей хорового пения.

Посадка . . . Посадка . . . Какие-то подъемы, спуски, карабканье по утлым лесенкам. Кажется, я держусь на ногах только потому, что упасть некуда. Мы движемся плотной массой, я льюсь, как капля этой серой волны. Я больна. Я совсем больна. Еще утром в день этапа у меня был сильный жар и неудержимый цинготный понос. Я скрыла это, чтобы не отстать от этапа, от друзей. И сейчас во время посадки на «Джурму» сознание мое по временам потухает и я живу в отрывочном, не совсем связном мире.

Наконец-то мы в трюме. Здесь плотная, скользкая духота. Нас много, очень много. Мы стиснуты так, что не продохнуть. Сидим и лежим прямо на грязном полу, друг на друге. Сидим, раздвинув ноги, чтобы между ними мог поместиться еще кто-нибудь. Ах, наш седьмой вагон! Как он был, оказывается, комфортабелен! Ведь там были нары.

Но лишь бы скорее отплыть. Нам кажется, что пароход сейчас отвалит. Мы слышим, как корпус его трется о пирс, поскрипывает. Слышим, как снуют возле парохода какие-то лодки, ялики, катера. Вроде весь этап уже погружен. Вот провели мужчин в соседнюю часть трюма.

Но нет, самое страшное было еще впереди. Первая встреча с настоящими уголовниками. С блатнячками, среди которых нам предстоит жить на Колыме.

Нам казалось, что в наш трюм нельзя больше вместить даже котенка, но в него вместили еще несколько сот человек, если условно называть людьми тех исчадий ада, которые хлынули вдруг в люк, ведущий к нам в трюм. Это были не обычные блатнячки, а самые сливки уголовного мира. Так называемые «стервы» — рецидивистки, убийцы, садистки, мастерицы половых из-

вращений. Я и сейчас убеждена, что таких надо изолировать не в тюрьмах и лагерях, а в психиатрических лечебницах. А тогда, когда к нам в трюм хлынуло это месиво татуированных полуголых тел и кривящихся в обезьяньих ужимках рож, мне показалось, что нас отдали на расправу буйнопомешанным.

Густая духота содрогнулась от визгов, от фантастических сочетаний матерщинных слов, от дикого хохота и пения. Они всегда пели и плясали, отбивая чечетку даже там, где негде было поставить ногу. Они сию же минуту принялись терроризировать «фраерш», «контриков». Их приводило в восторг сознание, что есть на свете люди, еще более презренные, еще более отверженные, чем они, — враги народа!

В течение пяти минут нам были продемонстрированы законы джунглей. Они отнимали у нас хлеб, вытаскивали последние тряпки из наших узлов, выталкивали с занятых мест. Началась паника. Некоторые из наших открыто рыдали, другие пытались уговаривать девок, называя их на «вы», третьи звали конвойных. Напрасно! На протяжении всего морского этапа мы не видели ни одного представителя власти, кроме матроса, подвозившего к нашему люку тележку с хлебом и бросавшего нам вниз эти «пайки», как бросают пищу в клетку диким зверям.

Спасла нас Аня Атабаева, секретарь райкома партии из Краснодара, плотная смуглая женщина лет 35, с властным низким голосом и большими руками бывшей грузчицы. Она размахнулась и изо всей своей богатырской силы двинула по скуле одну из девок. Та рухнула, и в трюме на секунду воцарилась изумленная тишина. Аня воспользовалась этим и, вскочив на какой-то тюк, возвысившись таким образом над толпой, отпустила громовым голосом такую пулеметную очередь отборной ругани, что блатнячки обомлели. Жалкие твари, они были столь же трусливы, сколь подлы. Аня первая из нас поняла, что к ним относится поговорка: «Молодец среди овец, а на молодца и сам овца».

Сила, исходящая от всей Аниной личности, загипнотизировала их. К тому же и форма, в какой эта сила была выражена, оказалась доступной их пониманию.

— Кто такая? — спрашивали они друг друга, со страхом и уважением поглядывая на оригинальную «фраершу». Из разных углов трюма понесся пущенный кем-то из наших ответ: «Староста! Староста!»

Это было им понятно. Староста. Она может дать по морде, а то и упрятать в «кандей».

— Отдать хлеб и барахло! — командовала Аня страшным голосом.

И они отдали. Мат, конечно, продолжал висеть в воздухе, продолжались и визги, и непотребные песни, но активная агрессия против «политиков» была приостановлена.

... Пльвем. Кажется, уже третьи сутки. Дни и ночи слились. Открываю глаза и вижу гроздь человеческих лиц. Воспаленные глаза, бледные, грязные щеки. Терпкая вонь. Особенной качки

нет, но тех, кто сильно ослабел, все же рвет. Прямо на соседок, на кучи грязных узлов. Впервые на нашем, уже почти трехлетнем скорбном пути появляются вши. Их принесли блатнячки. Жирные белые вши ползают прямо поверху, не давая себе труда прятаться в швах одежды.

Это был один из счастливых, вполне благополучных рейсов «Джурмы». Нам повезло. С нами не случилось никаких происшествий. Ни пожара, ни шторма, ни затопления, ни стрельбы по беглецам. Вот Юля моя, оставшаяся из-за болезни на транзитке на две недели дольше меня, ехала потом на той же «Джурме» и случился пожар. Блатари хотели воспользоваться паникой для побега. Их заперли наглухо в каком-то уголке трюма. Они бунтовали, их заливали водой из шлангов для усмирения. Потом о них забыли. А вода эта от пожара закипела. И над «Джурмой» потом долго плыл опьяняющий аромат мясного бульона.

С нами никаких подобных ужасов не приключилось. Мы просто «шли этапом» на «Джурме». К нам был даже проявлен гуманный подход. Иногда люк оставляли открытым, и мы видели кусок торжественно неподвижного неба над морем. Мы плыли, а оно все стояло над нами. А потом, когда поносников стало уж очень много, нам разрешили даже выходить по лестнице на нижнюю палубу в галюнь.

Однажды я упала на этой лестнице, потеряв сознание. Очнулась через несколько секунд, услышав над головой волшебные слова:

— Вам очень плохо, товарищ?

Мужской голос. Интонация интеллигентного человека. Это врач, заключенный врач. Он следует на Колыму тем же этапом. Его используют как врача в тюремном изоляторе. Неужели есть такое лечебное учреждение? Кого же туда класть? Разве в этапе есть здоровые? А-а . . . Оказывается, тех, у кого высокая температура. И, кажется, я как раз отношусь к таким, потому что — по крайней мере на ощупь — доктор считает, что у меня не меньше тридцати девяти.

Еще несколько фраз с обеих сторон, и выясняется, что на воле доктор Кривицкий вовсе не был доктором. Он был заместителем наркома авиационной промышленности. А медицину изучал еще до революции, когда был в эмиграции, в Цюрихе. Что? Я из Казани? Он года три назад был в Казани на открытии авиационного завода. Аксенов? Председатель горсовета? Ну как же, он знает . . . Позвольте, — замнаркома ведь знакомился с его женой! Такая дама . . . Это . . . это были вы?

. . . Да, Кривицкий не обманул. В больничном изоляторе были нары. А на них впритирочку друг к другу лежали вповалку все больные. ВСЕ! Мужчины и женщины. Политики и блатари. Поносники и сифилитики. Еще живые и те мертвецы, до которых руки не дошли, чтобы вытащить. В углу стояла огромная параша, которой ВСЕ — и мужчины и женщины — пользовались открыто, на глазах у всех.

У меня оказалось сорок и три. Меня втиснули между мужчиной и женщиной на нижние нары. По протекции доктора Кривицкого. Соседом слева оказался рослый бандюга. Он лежал почти голый, в бреду кричал страшное, и мне казалось, что огромный алчный орел, вытатуированный на его груди, сейчас клонет меня своим клювом, прихотившимся как раз на высоте моего носа. Справа стонала Софья Петровна Межлаук, жена заместителя Молотова.

— Если я умру, передайте моей дочери, что я ни в чем не виновата, — повторяла она все время, хватая меня за руки.

Кажется, это был субботний вечер и наверху, в капитанской рубке, веселились. Шаркали ноги танцующих. А фокстрот все время повторяли один и тот же:

Сумерки тихо спускались,
Звезды сплелись в хоровод . . .
В шумном большом ресторане
Кэтти танцует фокстрот . . .
Ах, ах, ах . . .

Мне снова кажется, что я играю роль в каком-то кинофильме. Сейчас снимем крупным планом шаркающие ноги танцующих. Потом — таким же крупным — голые ляжки вот этого старика, сидящего на параше. Дрожащие, тощие, как у ободранного пуха, покрытые синей кожей . . . Нет, этого, наверно, нельзя снимать, это будет грубый натурализм.

Наверху хохочут все громче. Выпили, видно, здорово. И опять: «Кэтти танцует фокстрот. Ах-ах-ах . . .» Что у них, других пластинок нет, что ли?

Мне надо в уборную. Нет, нет, не могу я здесь. Они почти мертвецы, но они мужчины. Пойду наверх . . .

Я нечеловеческим усилием подтягиваюсь на локтях, и мое тело выдавливается из глубины нар. Кривицкий спит в закутке, отведенном для врача. Как хорошо быть врачом! Он спит на двух отдельных табуретках . . . Хорошо, что он спит. Ни за что не позволил бы мне идти наверх, специально предупреждал, чтобы не смела, что могу умереть на ходу.

Поднимаюсь по крутой пароходной лестнице почти на четвереньках. Долго поднимаюсь. Наверно, час. Наконец вижу над головой звезды, сверкающие в графитно-черном небе. Тьму прорезают вымпелы дыма от парохода. Вот и палуба. Я вижу воду. На ней пляшут огни «Джурмы».

И вдруг я сбиваюсь с пути. Я знаю, что уборная где-то рядом, но я не понимаю, как дойти до нее. Такое уже было со мной однажды в Ярославке после нижнего карцера. Это очень страшно. Человек, не знающий, куда ему идти, это уже не человек. Ощупываю стены, как слепая. Мне кажется, что дым от парохода застилает мне глаза. Я уже почти ничего не вижу. Но ведь здесь умирать никак нельзя. Среди моря. Бросят за борт, акулам. Даже без мешка. Господи, ну подожди до Магадана! Пожалуйста, Гос-

поди, молю тебя . . . Я хочу лежать в земле, а не в воде. Я человек. А Ты ведь сам сказал: «Из земли взят и в землю . . .»

(Недавно, уже в шестьдесят четвертом, я прочла в рассказе Сент-Экзюпери такие слова: «То, что я выдержал, клянусь, не выдержало бы ни одно животное». Это говорил летчик, заблудившийся во время бури на чилийских склонах Анд.)

Потом я высчитала, что это было на шестой день морского этапа. Подобрал меня все тот же Кривицкий, проснувшийся и заметивший мое отсутствие. Но об этом я узнала много позднее, так как в сознание пришла только через двое суток, в тот день, когда «Джурма» завопила радостным голосом, увидя из-за гряды сопок очертания уже близкой бухты Нагаево.

Доходяг выносили по очереди на носилках. Их выносили и складывали на берегу аккуратными штабелями, чтобы конвой мог отчитаться в количестве, чтобы не было путаницы с актами о смерти. Мы лежали прямо на прибрежных камнях и смотрели вслед нашему этапу, удалявшемуся по направлению к городу, навстречу попыткам коллективной бани и дезкамеры.

Так мы лежали до глубокой ночи, и оставшиеся с нами конвоиры уже крыли недобрыми словами начальников, по-видимому забывших о брошенных доходягах. Потом оказалось, что не было машин. В этот день ушло несколько больших этапов в тайгу и машины были угнаны.

Стоял август. Но Охотское море все равно отливало безжалостным свинцовым блеском. Я все старалась повернуть голову так, чтобы увидеть свободный кусок горизонта. Но это не удавалось. Лиловатые сопки высились кругом, как тюремные стены. Я еще не знала, что это особенность Колымы. За все годы жизни на ней мне ни разу не удалось прорваться взглядом к свободному горизонту.

Конвоиры, продрогшие и изозлившиеся, развели костер. Над костром клубился черный смолистый дым, подкрашенный багровым заревом огня.

— Вы видели когда-нибудь на карте этот географический пункт? — спросила вдруг обычным будничным голосом лежавшая рядом со мной коминтерновская немка Мария Цахер.

Нет, я не видела его на карте, этот пункт. Я вообще была раньше чудовищно безграмотна. Я не знала ни карты Колымы, ни фокстрота про Кэтти, танцующую в шумном большом ресторане. Я не знала, что людей можно выбрасывать акулам прямо так, без мешков . . . Теперь я все это знаю.

На небе забрезжили удивительные оттенки лилового и сиреневого. Близился мой первый колымский рассвет. Я вдруг почувствовала странную легкость и примиренность с судьбой. Да, это чужая и жестокая земля. Ни моя мать, ни мои сыновья не найдут дорогу к моей могиле. Но все-таки это земля. Я добралась до нее, и мне больше не угрожают кишашие акулами свинцовые воды Великого, или Тихого, океана.

«ВАМ СЕГОДНЯ НЕ ВЕЗЛО, ДОРОГАЯ МАДАМ СМЕРТЬ»

Нет, это не сон — я действительно сижу в ванне. Я дотрагиваюсь до ее ослепительно белой скользкой внутренности. Какое изобретение человеческого гения! От горячей воды идет пьянящий запах соснового бора. Потому что мне назначена врачом не простая ванна, а хвойная. Да, насчет ванны сомнений нет, — она подлинная. Только вот мне ли принадлежит это костлявое тело, просвечивающее сквозь воду?

Уже две недели я нахожусь в стране чудес, именуемой магаданской лагерной больницей. Меня и других наших здесь лечат, кормят, спасают. И это после того, как я окончательно привыкла к мысли, что все люди, с которыми я сталкиваюсь за последние три года, если только они не заключенные, хотят одного: мучить и убивать.

Первые дни, проведенные здесь, слились в сплошной клубок беспамятства, боли, провалов в черноту небытия. Но в какой-то день, открыв глаза, я увидела над собой склоненное лицо ангела. Да, это был самый настоящий рафаэлевский ангел, сидящий на облаках у подножия Сикстинской мадонны. Только белокурые волосы ангела были тронуты завивкой перманент, а нежный подбородок уже начал чуть-чуть, самую малость, тяжелеть, обличая кончающийся четвертый десяток. Звали ангела подходяще — Ангелиной Васильевной. Доктор Клименко, Ангелина Васильевна, супруга следователя НКВД, ведала женским отделением магаданской больницы заключенных.

— Вот вы и пришли в себя, — зазвенел небесными флейтами голос ангела. — Теперь надо только побольше кушать . . . Не обращая внимания на понос . . .

Призыв «побольше кушать» в наших условиях мог прозвучать как самое изощренное издевательство, если бы ангел одновременно не положил на тумбочку около моей койки довольно увесистый сверток.

— Это все вам можно, не сомневайтесь, — говорил ангел, отходя к соседним больным.

Я не сомневалась. Я рвала зубами вареную курицу, принесенную ангелом, так же алчно, как, наверное, мой пращур в сумраке неандертальской ночи свеживал какого-нибудь бизона.

— Что вы делаете? Разве можно есть мясо при таком поносе? — шептала Софья Петровна Межлаук, оказавшаяся и здесь моей соседкой. Сама она считала, что только голодная диета — единственное средство при нашем изнурительном поносе.

А я поверила ангелу, сказавшему мне: «понос цинготный. Есть надо все». Я еще больше поверила голосу своего замученного, но в основе своей неистребимо здорового и молодого тела. А оно орало, вопило, требовало — еды!!!

Что заставило доктора Клименко не только больше месяца держать меня в больнице, давая отлежаться после этапов, но еще и приносить мне почти ежедневно из дому высококалорийные продукты, — не знаю. Может быть, ее, как врача, увлек процесс воскрешения полумертвой? Ведь потом она несколько раз говорила:

— Когда пришел ваш этап с «Джурмы», то из всех смертников самой безнадежной были вы. Я никогда не думала, что Цахер, Межлаук, Антонова умрут, а вы останетесь живы . . .

Да, возможно, врачом руководил профессиональный интерес. Но этим все не исчерпывалось. Вокруг ангела-врача ходили странные слухи. Говорили, что десяткам людей она спасала жизнь, то удерживая подольше в больнице, то не пуская на тяжелые работы, то выписывая дополнительное питание. Ощущала я и ее персональную симпатию к себе лично.

Так или иначе, но все шло почти по Диккенсу. Среди злодеев жил ангел, и этот ангел спал меня от смерти. Но иногда в глубине безмятежных голубых глаз врачихи пробегала какая-то темная тень страдания. И тогда казалось, что дело тут не столько в Диккенсе, сколько в Достоевском, и что таким поведением Ангелина, наверное, старается искупить деятельность своего мужа, которого она любит.

Шли дни. Скоро умерла Софья Петровна. Просто от голода. Никак не соглашалась послушать доктора и есть все, что дают.

— Что вы! — не теряя апломба высокопоставленной дамы даже на смертном ложе, говорила она. — Что вы, доктор! Я лечилась в Осло у профессора Икс, в Париже — у Игрека, и я знаю, что только диета может меня спасти.

Ангелина с поистине ангельским терпением втолковывала ей, что Колыма порождает своеобразные болезни, отличные от тех, какими болеют в Осло и Париже. Но Софья Петровна только снисходительно улыбалась.

Умерла она спокойно. Не проснулась с ночи. Потом умерла Мария Цахер. Перед смертью она вдруг забыла все русские слова, каких и раньше-то знала не густо. Но теперь она не могла даже вспомнить, как будет «вода». Я к этому времени уже стала вставать с койки, а так как в палате другие не понимали Марию, то мне пришлось принять ее последний вздох.

Кончина ее была настолько «литературной», что критика, несомненно, обвинила бы автора, описавшего такую смерть, в нарочитости. Однако все было именно так. Мария лежала совсем бесплотная, почти не возвышавшаяся над уровнем койки. Лицо ее, и вообще-то острое, типично «арийское», стало теперь колючим. Нос, подбородок, контуры синих губ были выписаны готическим шрифтом. Но на этом призрачном лице жили огромные карие глаза, горячие, полные мысли и страдания. Мария до последнего вздоха жила активной душевной жизнью. Умиравшего солдата тельмановской армии волновали вопросы коммунистического движения.

— Смогу ли я теперь читать по-русски? Как ты думаешь, почему я вдруг забыла все русские слова?

— Наверное, плохое кровоснабжение мозга. Потом вспомнишь . . .

За несколько минут до смерти она начала читать наизусть какие-то антифашистские стихи, кажется Эриха Вайнерта. Помню, что там повторялся рефрен: «Дер марксизмус ист ниht тод». Она произнесла эти слова, потом дотронулась до моей руки своими ледяными костяшками и сказала: «Абер вир зинд тод». И умерла.

Умирили ежедневно — и из нашего, и из других — новых и старых этапов. Но это не могло затмить мощного чувства возвращения к жизни, которое охватило всех нас, выздоравливающих. Жить во что бы то ни стало . . . И каждый день приносил теперь какую-нибудь новую радость. То совсем прошел понос. То прибавка в весе на два килограмма сразу. То румянец на щеках появился и еще больше вырос аппетит. Оказалось, что здесь можно и подработать на дополнительное питание.

— Вышивать умеешь? — таинственно спрашивает меня Сонька-айсорка, санитарка из бытовичек.

— Конечно, — уверенно отвечаю я, вызвав из тьмы времен вид крестиков на канве и уроки рукоделия в приготовительном классе гимназии.

— Вот этот узор сделай на подушку. И будет тебе за это от меня сахар-масло-белый хлеб . . .

На узоре был букет царственных роз, вокруг которого вилась разноцветная надпись: «Спи спокойно, Гриша, Соня тебя любит».

Теперь мои больничные дни были заполнены творческим трудом. Розы получились здорово. Сонька была довольна и ежедневно подкладывала мне на тумбочку что-нибудь съестное. На вопросы, откуда все это у нее берется, Сонька хохотала с присвистом:

— Ох, и дураки же эти контрики! Лежи знай припухай, кантуйся!

Но, очевидно, все-таки у Гриши не было достаточных оснований для вполне спокойного сна; потому что в один прекрасный день Сонька предложила мне распороть его имя над розами.

— Сделай тут вместо «Гриша» — «Васек», — поняла? — говорила Сонька, сверкая своими ассирийскими глазами и кладя мне на тумбочку кусок краковской колбасы.

Так в связи с причудами Сонькиного сердца я оказалась еще на два дня обеспечена работой.

Блатняки, лежавшие рядом с нами в больнице, были здесь в меньшинстве и вели себя куда спокойнее, чем на «Джурме». Обстановка располагала к лирическим раздумьям, и они рассказывали по вечерам истории своих жизней, варьируя любовные и воровские приключения, в которых, впрочем, проявлялась довольно убогая фантазия. От нас они все время требовали пересказа «какого-нибудь романа» или чтения стихов Есенина.

А к одной из девок, наглой и красивой Тamarке, приходил тайком на свидания настоящий живой Остап Бендер. Однажды я случайно оказалась в коридоре во время его посещения.

— Чего матюкаешься? — ласково сказала Тamarка. — Не видишь, что ли, женщина стоит рядом, шибко грамотная, пятьдесят восьмая!

— Извиняюсь, мадам, — сказал Остап Бендер с одесским акцентом, показывая в улыбке массу золотых зубов, — извиняюсь. Ученых я сильно уважаю. По натуре я сам — член-корреспондент академии наук. Только здесь не приходится работать по специальности.

— А какая у вас специальность?

— Я по несгораемым шкафам. Высокая квалификация. Может, слышали? По-нашему — медвежатник . . .

— Кто же его не знал в Ленинграде! — с гордостью добавила Тamarка.

. . . Ангелина назначила мне курс мышьяковых инъекций, и я поправляюсь, как на дрожжах.

— Телец на заклятие, — желчно шутила Лиза Шевелева, на воле личный секретарь Стасовой, — кому только нужна эта поправка? Выйдете отсюда, — сразу на общие. За неделю опять превратитесь в тот же труп, что были на «Джурме» . . . Грош цена этой Ангелининой благотворительности. Одни ложные надежды . . .

— А у нас, у блатных, знаете, какая поговорка? — вмешалась Тamarка. — Умри ты сегодня, а я завтра!

— Истина посередине, — примирительно подытожила остроумная Люся Оганджян, — не надо каннибальского «ты сегодня». Но не надо и мрачного пессимизма Лизы. Знаете, есть у Сельвинского такие стихи — про кулика, между прочим. — «Вам сегодня не везло, дорогая мадам Смерть? Адьо-с, до следующего раза!» А в следующий раз, может быть, опять вмешается Господин Великий Случай. Так что мы все-таки выиграли отсрочку. А это уже немало . . .

. . . Первое ощущение при возвращении в женскую зону лагеря, так называемый ЖЕНОЛП, при входе в восьмой, тюрзаковский барак, — это ощущение стыда. Мне было стыдно смотреть на синие лица, обмороженные носы, щеки, пальцы, на голодные глаза моих товарищей, вернувшихся этим поздним ноябрьским вечером с общих работ. Я так отличаюсь сегодня, после двух больничных месяцев, от них, от лагерных «работяг». Я стала круглой, упитанной, свежей. Точно предательство какое совершила.

После больницы, с ее отдельными койками, чистыми полами, проветренными помещениями, наш восьмой, тюрзаковский барак кажется настоящим логовом зверя. Он весь искривленный, покосившийся, с двойными сплошными нарами, промерзшими углами, с огромной железной печкой посередине. Вокруг печки, поднимающая вонючие испарения, всегда сушатся бушлаты, чуни, портянки.

— С курорта? — ехидно бросила мне Надя Федорович, стажированная оппозиционерка, репрессированная с тридцать третьего и глубоко презиравшая «набор тридцать седьмого».

Общие работы, на которые я попадаю со следующего утра, называются благозвучным словом «мелиорация». Мы выходим из зоны с первым разводом в полной ночной тьме. Идем километров пять строем, по пяти в ряд, под крики конвоиров и ругань штрафных блатнячек, попавших в наказание за какие-нибудь проделки в нашу бригаду тюрзаков. Пройдя это расстояние, попадаем на открытое всем ветрам поле, где бригадир — блатарь Сенька, хищный и мерзкий тип, открыто предлагающий ватные брюки первого сорта за «час без горя», — выдает нам кайла и железные лопаты. Потом мы до часу дня тюкаем этими кайлами вечную мерзлоту колымской земли.

Совершенно не помню, а может быть никогда и не знала, какая разумная цель стояла за этой «мелиорацией». Помню только огненный ветер на сорокаградусном морозе, чудовищный вес кайла и бешеные удары сбивающегося в ритме сердца. В час дня — в зону на обед.

Опять вязкий шаг по сугробам, опять крики и угрозы конвоиров за то, что сбиваешься с такта. В зоне нас ждет вожделенный кусок хлеба и баланда, а потом получасовой «отдых», во время которого мы толпимся у железной печки, пытаюсь набрать у нее столько тепла, чтобы хватило хоть на полдороги. И снова кайло и лопата, теперь уже до позднего вечера. Затем «замер» обработанной земли и чудовищная брань Сеньки-бригадира. Как тут наряды закрывать, когда эти Марии Ивановны даже тридцати процентов нормы не могут схватить! И наконец ночь, полная кошмаров и мучительного ожидания удара рельсы на подъем.

Это зима тридцать девятого-сорокового. Кто-то из наших раздобыл где-то старый, но не очень номер «Правды». Вечером перед отбоем в бараке сенсация. В «Правде» напечатан полный текст очередной речи Гитлера. И с весьма уважительными комментариями. А на первой полосе фото: прием В. М. Молотовым Иоахима фон Риббентропа.

— Чудесный семейный портрет, — бросает Катя Ротмистровская, залезая на вторые нары.

Катя неосторожна. Ей уже много раз говорили, что, к несчастью, среди нас появились люди, чересчур внимательно прислушивающиеся, о чем говорят в бараке по вечерам.

Пройдет полгода, и эта неосторожность будет искуплена Катей ценой собственной жизни. Катю расстреляют за «антисоветскую агитацию в бараке».

... Через десять дней «мелиорации» трофическая язва у меня на ноге снова раскрылась. Я с удивительной быстротой снова превратилась в «доходягу». Теперь я уже ничем не отличаюсь от тюрзаковской толпы и причины для укоров совести больше нет. Зря старалась Ангелина.

По воскресеньям мы не работаем. Стираем, чиним свою рвань и ходим в гости по другим баракам, где живут люди с более легкими статьями и меньшими сроками. Не тюрзаки. В тех бараках — запах человеческого жилья от варящейся на железных печках рыбешки, раздобытой за зоной. Там некоторые места на нарах застелены домашними клетчатými одеяльцами, а подушки покрыты марлевыми накидушками, вышитыми мережкой. Обитательницы этих бараков в большинстве работают в помещении — в прачечных, банях, больницах. У них нормальный цвет кожи и на лицах выражение интереса к жизни.

Я познакомилась с жительницами седьмого барака, захожу туда по воскресеньям. Там живут участницы лагерной самодеятельности. Певица Венгерова поет соло. Бывшие балерины снимают бушлаты и чуни и надевают пачки, чтобы продемонстрировать первому ряду — начальству — свое искусство. Есть и хор. В одно из воскресений я попадаю на такой концерт. Слушаю, как три десятка женщин, разлученных со своими детьми, ничего не знающих о судьбе своих сирот, лирически поют так, точно покачивают ребенка:

Спи, моя радость, спи, моя дочь . . .
Мы победили сумрак и ночь . . .
Враг не отнимет радость твою,
Баюшки-баю, баю-баю . . .

Начальник КВЧ (культурно-воспитательной части) похвалил их за слаженность хора.

Посреди седьмого барака, на топчане у печки, живет восьмидесятилетняя эзка, «обломок империи», княгиня Урусова. После этого концерта она говорит:

— Когда древние иудеи попали в пленение вавилонское, им приказали играть на арфах. Но они повесили арфы свои на стены и сказали: «Работать в неволе мы будем, но играть — никогда . . .»

Она трясет своей почти облысевшей головой и добавляет:

— КВЧ на них не было . . . Да и люди были не те . . .

В седьмом бараке я слышала разные новости, так называемые лагерные «параши», то есть непроверенные слухи. В восьмом, тюрзаковском, было не до новостей.

— Скоро большой этап в тайгу будет . . . В Эльген . . . Совхоз . . . Штрафная командировка . . .

— На днях прибудет большой этап из Томска. У кого статья «Член семьи». До сих пор сидели не работая, как в тюрьме. Сейчас работать будут.

— Наверное, тюрзак в тайгу . . .

Все время надо было помнить, что как бы ни тяжел был сегодняшний день, а завтра надо ждать худшего. Каждый вечер, ложась спать, надо было благодарить судьбу за то, что сегодня ты еще жива. «Вам сегодня не везло, дорогая мадам Смерть . . .»

НА ЛЕГКИХ РАБОТАХ

Когда в магаданский ЖЕНОЛП пришел этап жен, казанская землячка, врач Мария Немцевицкая, потрясенная моей цветущей цингой и полным пауперизмом, подарила мне хорошенькую вязаную кофточку, уцелевшую в ее узле благодаря спасительной медицинской профессии.

Мы сидели на нижних нарах в тюрзаковском бараке, засыпая друг друга фамилиями знакомых и друзей. Фамилии перемежались стандартными возгласами: расстрелян . . . десять лет . . . пропал без вести . . .

В промежутках врачаха со слезами гладила меня по волосам, а я как зачарованная перебирала дареную кофточку. Ее яркие пуговицы и цветные разводы гипнотизировали меня.

— Я очень похудела. Она будет мне велика, — говорила я, совершенно не думая о том, как «впишется» эта кофточка в мой общий ансамбль: тряпичные, перевязанные веревочками чуни на ногах, серая с коричневой полосой тюремная ярославская юбка, обшарпанная заплата на телогрейке.

Легкий шорох и тихие возгласы заключенных возвестили появление в бараке старшей нарядчицы Верки. Цепкий зоркий взгляд моментально фиксировал кофточку в моих руках.

— Конечно, велика тебе! Да куда тебе и надевать-то такую? На кайловку, что ли?

Веркины многоопытные руки смяли тонкую шерсть. Шерсть распрямилась.

— Натуральная. Дай померить . . .

— Конечно, конечно, Верочка, пожалуйста, померьте, — изо всех сил сжимая мою руку, повторяла хозяйка кофты, врачаха Мария, отлично знакомая с могуществом старшего нарядчика.

Верка небрежным жестом засунула кофточку под свой пуховый платок.

— Не жалейте, Женечка, — возбужденно уговаривала Мария. — Эта кофточка вам, может быть, жизнь спасет. Конечно, есть среди нарядчиков такие, что берут, да не делают, но про эту Верку я слышала, что она за каждую вещь посылает на легкую работу хоть на две недели. А вам сейчас после больницы, да в таком состоянии, так важно не ходить на эту проклятую кайловку. Да и морозы, может быть, спадут за это время.

Прогноз доктора Марии оправдался уже на следующем утреннем разводе. Как всегда, мы стояли совсем окоченевшие, по пятеркам, ожидая вызова. Было пять часов утра. Ничто в темном небе и густом слоистом воздухе не предвещало близкого рассвета. Торопливо выравнивая шаг, я двинулась со своей пятеркой к воротам и вдруг поймала на себе внимательный взгляд Верки-нарядчицы. Она стояла со списком в руках, в своем ладном дубле-

ном полушубочке и пуховом платке, окруженная целым выводком вохровцев.

— Давай, давай, — выкрикивала она через каждые две-три секунды, в промежутках между кокетливыми улыбками, адресованными вохровцам.

Впрочем, иногда Верка останавливала очередную пятерку и «отставляла» из нее какую-нибудь укутанную в тряпки бесполоую фигуру.

— Налево! В сторону! — выкрикивала при этом Верка, и у всех замирало сердце.

Потому что такая «отставка» могла быть и к несчастью и к добру. Могли остановить для очередного этапа в тайгу, по сравнению с которым и магаданский ЖЕНОЛП казался раем. Но могли оставить и для посылки на вожделенную работу «в помещении», где хоть на несколько дней отойдут распухшие ноги, где ты встретишь «вольняшек», а с ними и нелегальные отправки писем, «левых» заработков пайки хлеба, а то и миски супа.

— Отставить! Налево! — сказала Верка, когда я ковыляла мимо нее в своих чунях. Так дареная казанская кофточка оказалась для меня в этот момент гриневским заячьим тулупчиком.

Я просто ушам не поверила, когда уже на исходе развода утомленная Верка небрежно бросила мне:

— В гостиницу пойдешь . . . Бригадир — Анька Полозова.

Вольная гостиница. Это то самое сказочное место, куда посылают только бытовичек, куда нам, контрикам, доступ закрыт. Это та самая счастливая Аркадия, где, закончив мытье полов, заключенные уборщицы могли брать у постояльцев заказы на частную стирку и получать за это большие куски хлеба и даже сахара.

Поистине Верка-нарядчица была глубоко принципиальной взятчицей. Взяв что-либо, она честно расплачивалась. Не в пример многим другим.

Магаданская гостиница 1940 года размещалась в большом сером бараке. Только в двух комнатах жили семейные: какие-то начальники из средних, квартиры которых еще только строились. Все остальное население гостиницы — это были колымчане первых наборов: проспиртованные экспедиторы с приисков, урки, промышляющие в Магадане в промежутках между отбытым и еще неполученным новым сроком, и даже отдельные ловкачи, что смогли, находясь «во льдах», сфабриковать неплохие документы.

Комнаты были переполнены. Коридоры тоже. В коридорах почти вповалку, по два на каждой железной койке, а местами и на матрацах, брошенных прямо на пол, жили хорошие «матери-ковские» люди. Это были по большей части геологи, отсидевшие с 37-го «в гарантинщину» по два-три года в доме Васькова, а теперь, после «либеральной весны» 1939 года, вынесенные на волю. Здесь в гостинице ждали они весны, начала навигации, возвращения на Большую землю.

— Девки! До трех казенная уборка. С трех — ваше дело . . .

До отбоя . . . Только не гореть, поняли? Погорите, — сами за себя отвечаете, я ничего не знаю, — сказала бригадирша Анька Полозова, обращаясь к своей бригаде, состоявшей из пяти отборных блатнячек и меня.

Сама Анька имела солидную удобную статью — СВЭ. Социально-вредный элемент. Пограничная между политиками и бла-тарями. С такой статьей можно было по праву занимать выдающийся пост бригадира уборщиц гостиницы.

— Ну, я иду наряды заполнять, — добавила Анька.

— Заполняй давай! — хрипло буркнула Маруся-красючка. — И то сказать — заждался! Ишь, буркалы-то выкатил . . . Ошалел, ждавши . . .

Действительно, завхоз гостиницы, мощный кавказец, обладатель точеного подбородка и очень выпуклых глаз, с которым Анька уже целый месяц «заполняла наряды», ждал ее в дверях своей комнаты.

— Сейчас, Ашотик, иду, лапонька, — неожиданно нежно обратилась Анька к завхозу. — Да вот еще, девки! Тут сегодня новенькая, пятьдесят восьмая . . . Отощала здорово . . . тюрзак, одно слово . . . Так вы, того, не шакальте с ней . . . Покажите, что и как. Тебя как? Женей? Ну и ладно! Иди вон с Маруся-красючкой. Введи ее в курс дела, Мария. Есть? А то у меня наряды незаполненные. Иду, Ашотик, деточка.

— Та еще деточка! — буркнула опять Маруся-красючка, поводя мечтательными синими глазами. — Его легче похоронить, чем накормить. Как удав жрет . . . Исполу их обрабатываем . . .

К вечеру я увидела, как, подчиняясь неписаным законам, привилегированная бригада тащит оброк — половину доходов от своих отхожих промыслов — на прокормление удава Ашотика и его нежной подруги — бригадирши Аньки Полозовой.

Работа состояла в мытье некрашенных затоптанных полов. С тряпкой и ведром я встала в очередь к титану, где заключенный старик-кубогрей бережно наливал каждой из нас полведра кипятку. Остальное полагалось дополнять снегом.

Старик несколько раз окинул меня косым взглядом из-под лохматых бровей и сразу определил статью и срок.

— Тюрзак поди? Та-а-ак . . . Чуни-то снять надо. Раскиснут от воды. Эй, веселые, дали бы человеку какую обувку для работы. Есть ведь у вас, знаю . . .

— Дадим, не журыся, дед! Эй, Женька, снимай кандалы-то свои! На вот тебе калошки подходящие, — доброжелательно сказала татуированная с ног до головы Эльвирка, сбрасывая с себя мужские стоптанные галоши, в которых она пришаркала в кубовую.

— Спасибо, Эльвира! А как же вы сами?

— Ой, братцы, лопну! На «вы» она меня! Как ваше здоровье, Марья Ивановна? Приходите ко мне на вторые нары после отбоя . . . Кипяточку попьем, погутаим за книжечки . . . Чудные эти контрики . . . За меня не журысь! Сниму с любого фрайера в но-

мере, босая не буду . . . — говорила Эльвирка, обезьяньими движениями почесывая правую ступню, на которой красовался лозунг «Не забуду мать-старушку».

Кубогрей остановил меня при выходе. Я шла последней.

— Давайте познакомимся. Вижу, что политическая. Как это вас сюда прислали? Видно, по здоровью, актированы, что ли? Я сам ведь тоже антисоветский агитатор. Пятьдесят восемь-десть. Сам ленинградец с Кировского. Посадили меня на эту блатную работенку, поскольку актирован. Внутренность расходится. Оперирован был в гражданскую. А после трассы да золотишка швы-то и разошлись внутри. Вот и пожалели, посадили тут в тепло. Ну, да ведь и годиков-то мне шестьдесят с гаком. Да не во мне суть. Хочу вас предупредить. Девушка вы молодая, а место тут злачное.

— Понимаю. Мне уже за тридцать. Это я от истощения так помолодела, что девушкой кажусь.

— Все равно — молодая еще. Да и не здешнего сорта. Вижу я людей. Так вот, в номера ни к кому не заходите. Ни ногой. Ашотки особенно опасайтесь. А если что заработать надо, так у женщин. Здесь две семьи живут. Как с полами управитесь, приходите ко мне. Я вас сам к Солодихе сведу. Вчера спрашивали девушку для стирки. Жадна, правда, чертовка, да ведь уж все накормит. Ну, еще тех можете обслуживать, которые в коридоре. Это наши, реабилитированные. Сами, правда, с хлеба на квас, из колеи выбиты, по два да по три года отсидели . . . Но эти последний кусок пополам разделят. В стирке тоже сильно нуждаются.

Блатнячки закончили казенную работу на два часа раньше меня. Все в длинных шароварах с низко надвинутыми на глаза платочками, завязанными особым блатным узлом, в платьях фантастических расцветок и фасонов, они носились теперь по зданию, наполняя его визгами, хохотом и матерщиной.

Впрочем, это была не ругань. Настроение у девок было мирное, даже приятное. Просто любую свою мысль они выражали именно этими тремя-четырьмя похабными глаголами и производными от них грамматическими формами.

— Амебы! — почти ласково сказал кубогрей, наливая мне очередную порцию кипятку. — Кроме этих слов ничего не знают. Право, одноклеточные . . . А ведь есть и невинные девахи среди них. Если бы, конечно, за них с малолетства взяться. Да, жили мы на материке и не знали, сколько у нас в стране такой швали.

Мыть пол было не очень трудно, хотя от голода и согнутого положения кружилась голова. Особенно легко становилось, когда вспоминались общие работы, например «мелиорация»: пудовре железное кайло, безнадежно тюкающее насмерть окаменелую землю, и яростные ожоги от мороза, врывающегося под вытертую тлегрейку. А это, действительно, легкая, блатная работа. Под крышей, в тепле. Да еще вода горячая. Нежит распухшие руки. Тем не менее до слез обидно, что шмыгающие

по коридорам постояльцы оставляли грязные следы на только что вымытом куске.

— Эй ты, Мария Ивановна! Обалдела, что ли? — переодетая в малиновый халат с цветами и густо намалеванная Эльвирка с неподдельным изумлением взирала на мою работу. — Гляньте-ка, девки, на малахольную! Как скоблит, а! Да ты что, к свекрови, что ли, приехала, хочешь показать, какая ты сама из себя работающая?

— А ты не ори, а покажи человеку, как делают! Тюрзак ведь она . . . А из тюрзака, известно, кровь вся выпитая.

Маруся-красючка говорила баском пропойцы, но синие глаза ее по-прежнему удивляли мечтательным выражением.

— Вот чего, Женька, слушай сюда. — Она потянула меня за рукав. — Первое дело: черного кобеля не отмоешь добела — это раз! Второе — тебе еще надо на себя заработать, а ты все на начальника вкалываешь. Это два. А третье — смотри, вот как надо . . .

Маруся ловким движением выплеснула всю воду на пол и быстрыми широкими мазками растерла ее по грязному полу.

— Было бы сыро, чтобы Ашотка видел, что мыто. Айда в кубовую чай пить! На мою пайку! Мне фрайер белого дал.

Неописуемое райское блаженство — сидеть у теплого титана, тянуть из стариковой кружки почти крутой кипяток, откусывая время от времени от кусочка пиленого сахара и отщипывая от марусянкиной пайки.

. . . Солодиха оказалась весьма импульсивной дамой.

— Вот эту? Да она на ногах-то еле держится . . . Доходяга натуральная . . . Где ей такую кучу перестирать! У меня месяц не стирано.

— Любого не кормить да держать на кайловке — так отоцает, — эпически заметил старик. — Смирна зато. Да и возьмет недорого.

Я почти любовно перебирала солодовское белье, сортируя его на кучки. Момент этот представлялся мне переломным и торжественным на моем тюремно-лагерном пути. Во-первых, предстояло впервые за три года самостоятельно и по собственной инициативе заработать себе на хлеб. Во-вторых, привлекал разумный характер предстоящей работы. Это было совсем неплохой целью — переодеть в чистое этих замурзанных ребят, копошившихся в углу номера, заваленного невытой посудой и неприбранным барахлом.

— А ты не заразная какая? — поинтересовалась Солодиха, критически осматривая меня. — Уж больно худа . . .

— Нет. Цинга не заразная. От голода это . . .

— Ладно! Схожу вот сейчас в магазин, потом обедать будем.

Перед уходом в магазин Солодиха долго шептала что-то своему старшему — десятилетнему мальчишке, время от времени вскидывая на меня глаза. Вскоре после ухода матери мальчишка улизнул в коридор, на ходу бросив шестилетней сестренке:

— Сама смотри, чтобы она чего не сперла! Мне надоело уж . . .

... Недаром Юля, моя ярославская сокамерница, шутила, что от ста граммов полноценной пищи я сразу толстею на килограмм. Уже через неделю работы в гостинице я становлюсь неузнаваемой.

— Ишь как быстро на моих хлебах мяском-то обросла, — почти доброжелательно говорит Солодиха, подбавляя мне густо просаленной пшенной каши. За неделю я ликвидировала все самые непроходимые залежи в углах ее жилья, и она оценила это, особенно убедившись, что все добро на месте.

— А ты, оказывается, ничего из себя. Глазастенькая... Недолго поди у меня в уборщицах засидишься. Бабы в Магадане — товар дефицитный. А тут в гостинице шакалье так и рыщет.

Пытаюсь элементарно втолковать Солодихе, что я «честная».

— Ну что же, это хорошо, — одобряет она, — тогда вот подкрепись еще маленько, и мы тебе самостоятельного мужика подыщем. Тут ведь даже экспедиторы с приисков бывают. Масло-сахар-белый хлеб! Да и деньгами даст...

По вечерам возвращаюсь в восьмой тюрзаковский барак ЖЕНОЛПа и в лицах изображаю нашим гостиничные персонажи. Все наши хохочут, и я сама только в плане чистой юмористики воспринимаю заботы Солодихи о том, как бы повыгоднее продать меня самостоятельному экспедитору.

Но однажды во время мытья полов в коридоре (я обрабатываю их теперь быстренько, по Маруськиной методе, чтобы больше времени осталось на Солодиху) вдруг чувствую увесистый шлепок пониже спины: чей-то осипший, настоенный на спирту и на чефире голос хрипит:

— Пойдем... Полюбимся... Сотнягу даю!

До сих пор с вопросом о проституции мне приходилось стелкаться или как с социальной проблемой (в связи с ростом безработицы в США) или как с художественным образом (Алиса Коонен под качающимся на авансцене тусклым фонарем). Даже в самых кошмарных видениях бутырских и ярославских ночей не могли мне присниться такие слова и жесты, адресованные мне... мне!

Аффект настолько силен, что я сразу забываю подробные инструкции старика-кубогрея о том, как вести себя в подобных случаях («Прямо тряпкой по морде и шли его подальше на его же языке»). Вместо этого откуда-то из глубины подсознания вырывается:

— Негодяй! Как вы смеее!

Прихваченные морозом, коричневые, облупленные щеки моего покупателя расплываются в улыбку. Он сдвигает шапку набок.

— Ишь ты! Глазки. Красючка... 58-я, что ли? Айда, 200 даю...

Синие от мороза со скрюченными пальцами лапы снова тянутся ко мне.

— Отойдите, — кричу я, хватаясь за ведро, — оболью...

И вдруг чья-то рука (кожаный рукав) поднимает моего питекантропа за шкуру, как котенка, и от сильного удара чьей-то

ноги (добротные валенки) он летит в дальний угол коридора, наполняя воздух россыпями отборного мата.

Защитивший меня человек был Рудольф Круминьш, один из реабилитированных коридорных жильцов, только что вышедших после двухлетней отсидки из дома Васькова.

С этого эпизода завязалась моя дружба с коридорными жильцами, ждущими первого корабля для отправки на материк. Я начала торопиться и у Солодихи, чтобы успеть до отправки в лагерь побыть хоть часок в этом секторе коридора. Наскоро простирнуть ребятам бельишко. Пришить пуговицы. Перемыть кружки и миски.

Оазис в пустыне. Человеческие лица. Разговор о сокровенном, волнующем нас всех. Полное доверие. Никто из них не боялся riskнуть отправкой «через волю» моей корреспонденции.

— Женя, да не пришивайте вы так крепко пуговицы к этому кожаному пальто, — говорит смешливый чернявый геолог Цехановский, которого так избивали во время следствия, что остался непроходящий кашель, — право, не старайтесь, все равно он их каждый вечер ножичком отрезает.

Это про кожаное пальто моего защитника Рудольфа Круминьша. Его взяли временно до весны работать в управление, и он одет совсем добротно, не в пример другим.

Милый Рудольф! А я-то думала, почему пуговицы так рвутся. Это для того, чтобы под предлогом благодарности за труд совать мне в карман конфеты и куски сахара.

Энергичное белое лицо Рудольфа краснеет.

— Ты есть один большой звинья! — ворчит он на Цехановского.

Теперь я без привычного чувства острой тоски вскакиваю утром со своих нар. Я даже с нетерпением ждала развода, испытывая каждый раз облегчение, когда ворота лагеря оставались позади. Не отставая от Эльвирки и Маруськи-красючки, неслась я по улицам предрассветного, подернутого сизым туманом оконевшего Магадана, стремясь поскорее добраться до своей гостиницы. Ведь в этом ковчеге, где наливались спиртом, крали, блудили и сквернословили урки, экспедиторы, девки и мелкие колымские «начальнички», меня ждали добрые взгляды товарищей, которым повезло вырваться из пасти терзавшего меня дракона. Благодаря их бескорыстным заботам я была теперь не только бескорыстно сыта, но и согрета душой.

Я гнала от себя подспудную мысль о возможном скором конце этого лагерного счастья. И настоящим ударом для меня явился тот колкий декабрьский рассвет, когда, проходя в своей пятерке мимо выводка вохровцев, я услышала обращенный к себе возглас Верки-нарядчицы:

— Отставить! Налево!

Все. Ну и то сказать: месяц работы в гостинице — неплохая цена за шерстяную кофточку с яркими пуговицами.

— Пока в барак! Завтра на общие пойдешь . . .

До самого вечера я неподвижно лежала в пустом бараке.

Острая сверлящая боль в сердце относилась не столько даже к мысли о ржавом кайле и удушливой стуже «общих». Страшнее была мысль, что не увижу больше моих новых друзей — реабилитированных из гостиничного коридора, не услышу прерываемых кашлем шуток Цехановского, не буду больше пришивать аккуратно отрезанные перочинным ножиком пуговицы с кожаного пальто Рудольфа.

Вечером, перед самым возвращением наших тюрзаковок, дверь барака открылась, и в клубах белого плотного воздуха, ворвавшегося в барак, я сразу различила франтоватые фетровые валеночки бригадирши уборщиц Аньки Полозовой.

— Т-ш-ш . . . — заговорщически оглядываясь, сказала Анька. — Само главное — не тушуйся. Они тебя не бросит, фриера-то твою . . . Первое дело — вот тебе передача от того, что в кожаном. Все честь по чести — сахар-масло-белый хлеб . . . Потом деньги, держи . . . Это главное — вот . . .

Анька вытащила из кармана своей новенькой кокетливой телогрейки кучку смятых бумажек.

— Верке-наряднице . . . Чтобы не на общие тебя . . . В гостиницу-то, конечно, обратно не попадешь. Ей нагоняй от УРЧа был, что констрика на работу к вольняшкам послала. Но она что-нибудь придумает, чтобы не на общие все же . . .

— Откуда деньги?

— От твоих фриеров . . . Сначала спорили часа два, как спасти тебя, что, мол, этически, а что неэтично . . . Потом собрали вот . . . И тебе велели не отказываться. В таком, мол, положении все средства хороши. А то запросто загнешься.

Верка-нарядница — настоящий гений лагерной стратегии и тактики — на этот раз «отставила» меня на разводе, чтобы отправиться на работу в мужской ОЛП, носивший название «командировка горкомхоза». Получив от УРЧа взбучку за то, что я — страшный зверь «тюрзак» целый месяц пробыла вопреки всем правилам на бесконвойной работе, она устроила теперь так, что я из одной зоны попадала в другую. Но работа все-таки была «блатная». Мне предстояло стать судомойкой в лагерной столовой мужской зоны. Сытость. Крыша над головой. Сомнениям насчет этичности или неэтичности взятки — даже в лагере — мне предаваться не пришлось. Анька сама передала наряднице деньги.

Горкомхозовской эта мужская командировка называлась потому, что на ней содержались «доходяги», оставшие от этапов по болезни. Эти живые скелеты работали на предприятиях горкомхоза, то разгребая снег на улицах Магадана, то очищая помыки.

. . . Столовой этой зоны заведовал крымский татарин по имени Ахмет. Его смазливая физиономия с глазами-маслинами искрилась веселой хитростью и лукавством. Повадками, движениями, манерой говорить он напоминал ловкого слугу из классической плутовской комедии. На воле он был тоже поваром или, как говорил, «чиф-поваром». Весь день он мелким бесом вился по своей

кухне, напевая и аккомпанируя себе стуком ножей. Из лагерного пайка этот ловкач умудрялся обеспечить себе и ближайшему своему окружению довольно неплохое питание, обкрадывая доходяг самым бесстыдным образом.

Проблема женщин на этой мужской лагерной точке стояла очень остро для хорошо упитанных, сытых и наглых придурков из бытовиков. Две-три блатнячки-поломойки были нарасхват, не справляясь со своими задачами, хоть и пожирали огромными кусками краденое мясо.

Сочетание зоологических хищных придурков с окружающими их со всех сторон еле бродящими призрачными фигурами «доходяг» придавало всей этой командировке зловещий оттенок, и в первый день моего прихода я еле сдерживала слезы, видя, что я окружена здесь, как зверь в загоне, что вряд ли мне удастся продержаться на поверхности хотя бы несколько дней.

Мое появление (женщина политическая!) явилось там сенсацией. Придя с первым разводом, в шесть часов утра, я сидела подавленная, убитая, в ожидании, когда выйдет из своей привилегированной кабинки самодержец Ахмет, его величество хозяин еды. Барак-столовая и кухня были пропитаны насквозь едким запахом баланды из овса и зеленых капустных листьев. Я сидела, как приговоренная, а вокруг меня свора нарядчиков, старост и дневальных с гнусными усмешками спорили прямо в моем присутствии о том, кому я достанусь.

Нет, из этого волчьего логова придется бежать хотя бы на общие. Я оглядываюсь с тоской в надежде, не найдется ли здесь заступник вроде Рудольфа. Но здесь весь привилегированный слой заключенных, все придурки — бандиты, воры, отпетые уголовники.

— А ну, катитесь подальше! — раздается тонкий, но оглушительно громкий голос Ахмета. — Куда бабу прислали? В столовую . . . А в столовой заведующий есть или как? Чего набежали!

Ахмет возмущен. Он рассматривает меня как свою законную собственность. Окидывает меня оценивающим взглядом. Затем, приплясывая и напевая на ходу какую-то блатную мелодию, он несет к моим ногам сказочные дары — миску, наполненную пончиками. Их выпекают официально для поощрения лучших ударников из доходяг. Фактически — для насыщения своры придурков.

Надо быть хитрой в борьбе с волками. Попробую вот что . . . Совершенно неожиданно для Ахмета я пускаю в ход непредвиденное им оружие самозащиты. Мобилизую все внутренние ресурсы памяти и слеплю довольно сносную фразу по-татарски. Я из Казани. Я почти татарка. Он должен относиться ко мне, как к сестре, не давать в обиду. Я тюрзаковка. Очень измучена, истощена. Я уверена, что Ахмет-ага прогонит всех этих . . .

Ахмет давно не слышал звуков родной речи. Что-то человеческое тенью пробегает в его глазах-маслинах. Мусульман-хатын? Черт возьми! Вот это так удача. Отощала, говоришь? Откормим лучше быть нельзя. Ладно, пожалуйста! Ахмет-ага будет ждать

целую неделю. Работай спокойно, отъедайся, никто не тронет. Налегай на пончики! Ахмет-ага сам не любит сухопарых . . .

Неделя . . . Ну что ж, это тоже отсрочка. За неделю, может быть, пройдет постоянная режущая боль в сердце. А тогда вернусь на общие.

— Ешь, поправляйся. — Ахмет сует мне большой кусок вареного мяса. — От пуза ешь, а на работу не жми сильно-то. Не медведь — в лес не убежит. Вон напарник твой пусть вкальвает. Бык хороший . . .

Я поворачиваю голову. Жестяная мойка разделена надвое. Около нее быстро и точно, как автомат, работает мужчина средних лет с интеллигентным заросшим темной щетиной лицом, с плотно сжатыми губами, в низко надвинутом на лоб малахае. Миски, жестяные миски, легкие и звонкие, дождем летят в мойку из проделанного в стене окошка. Сначала в грязное отделение мойки, где смываются остатки баланды, потом в чистое, где споласкивают. Потом миски снова высоченными грудями подаются в стенное окошко и летят на раздаточный стол, где их наполняют баландой. Водопровода, конечно, нет. Судомой каждые десять-пятнадцать минут бросает работу, берет два ведра и выходит во двор, чтобы принести из кубовой чистой кипятком.

Сразу бросается в глаза, как старательно, не по-лагерному делает свою работу этот сумрачный человек. Заученными, быстрыми, точно на конвейере, движениями крутит он бесчисленные миски. Странно, что судомой не доходяга. Он нормально упитан. Каким путем он избежал прииска и стоит тут на типично женской работе?

— Глухарь! — заметив мой взгляд, объясняет Ахмет. — Глух как стена. Хоть из пушки пали . . . Актирован. Все комиссовки прошел. Немец из Поволжья. Вот пусть и вкальвает за двоих. А ты вставай вон к чистой мойке, споласкивай! Не вздумай воду таскать, пусть сам носит. А ты ешь, поправляйся, потом поговорим с тобой . . . Никого не бойся!

И он многозначительно подмигивает мне.

— Глухонемой?

— Да нет, глухой только. А языком-то чего-то бормочет по-своему . . .

Прислушиваюсь к бормотанию глухого и явственно различаю слово «ферфлюхте», адресованное Ахмету. Занимаю место у второй мойки и включаюсь в работу. Она не так легка, как кажется. Миски, как живые, летят в воду без малейшей паузы, и я все повторяю и повторяю однообразное круговое движение рукой. Через два часа деревенеют шея и плечи. Я, конечно, не хочу пользоваться льготами, предоставленными мне Ахметом, и пытаюсь сбегать за водой. Но мой напарник настойчивыми сильными движениями отнимает у меня ведра, бормоча себе под нос нецелые слова.

— Проклятый индюк . . . Еще женщин будет мучить . . . — Он бросает на нашего «чиф-повара» гневные взгляды.

Потянулись судомоечные дни. Я даже во сне все время видела летящие на меня грязные миски. Горкомхозовские доходяги работали, а значит, и ели в различное время. Столовая работала почти беспрерывно. Но в часы пик напряжение доходило до крайности. Нельзя было не то что разогнуться, но хоть на секунду оторвать глаза от мойки. Тошнотворный въедливый запах баланды исходил теперь от меня, от моих рук, от моего платья и телогрейки. От горячей воды я была все время потная, а в двери за моей спиной, то и дело открывающиеся, рвался морозный воздух. Кашель мучил меня, не давая заснуть по ночам.

Но если иногда Ахмет, сжалившись надо мной, давал мне подмену, а меня направлял в столовую собирать миски, я страдала еще больше. Вид этой столовой и ее клиентов был непереносим. Ели в бушлатах, вытаскивая ложки из-за голенищ лагерных чуней. Мест не хватало, и многие ели стоя, окружив большую круглую железную печку. Руки их, державшие миску на весу, дрожали. Вонь от дымящихся, просыхающих от жаркого тепла чуней забивала даже запах баланды.

Ах, как они тряслись, эти костлявые, черные, отмороженные пальцы, вцепившиеся в миски... Большой барак гудел. Густой мат перемежался надсадным кашлем, харканьем, стуком ложек. Страшнее всего было слушать, как доходяги шутили.

— За ваше здоровье! Дай бог не последняя! — обычно острили они, перед тем как опрокинуть рюмку экстракта стланника, который раздавался в углу столовой для предупреждения цинги.

Ахмет-ага горой стоял за санитарию, гигиену и благоустройство. Поэтому над кривыми промерзшими насквозь окнами столовой красовались бумажные занавески с вырезанным рисунком, а одно время Ахмет, в содружестве с санчастью, выдумал даже завести умывальник и полотенце, над которыми висел художественно выполненный плакат «Мойте руки перед едой — не будете болеть цингой». В умывальник вскоре перестали наливать воду, так как уж очень безнадежными оказались попытки отмыть руки доходяг. Но плакат остался.

Придурки обедали на кухне в специально отгороженном для них закутке, откуда тонкой струей тянулись в наш судомойный угол волшебные ароматы настоящего мясного супа и знаменитых пончиков, вареных в подсолнечном масле. В первый день моей работы Ахмет пытался усадить меня вместе с ними, но я со слезами на глазах умоляла его оставить меня с «глухарем».

— Я боюсь их, — очень искренне говорила я, так как действительно ощущала страх в этом мире, населенном питекантропами.

Ахмет отнес такое мое поведение за счет чисто мусульманской застенчивости и даже популярно объяснил старосте и нарядчику, что казанская баба никогда не может быть такой шлюхой, как, скажем, московская.

Конечно, если бы быть по-настоящему принципиальной и честной, то не надо было бы есть этих пончиков, испеченных на краде-

ной муке, выдаваемой на «подливку» баланды. Но до таких вершин в умении побеждать голод я не поднялась. Утешая себя довольно гнусными софизмами насчет того, что доходягам, дескать, не попадет это все равно никогда из рук Ахмета, я несла еду в нашу мочечную, ставила на перевернутый ящик, покрытый газетой, на котором уже лежали большие куски хлеба, нарезанные моим напарником.

Потом мы сиделись друг против друга на перевернутые боком табуретки и хлебали суп из одной миски, строго соблюдая очередность в вылавливании кусочков оленины. Именно из-за этих кусочков мы и не считали возможным разлить суп по отдельным мискам. О брезгливости или даже о разумном опасении — не заразиться бы чем-нибудь от незнакомого человека — все мы начисто забыли.

Впрочем, я чувствовала, что это человек чистый во всех отношениях. Между нами уже со второго дня установилось молчаливое понимание. Мне казалась смешной и трогательной его манера обращаться со мной в этом мире, как с дамой. Он подавал мне бушлат, точно это было котиковое манто. Он вставал, если я стояла, пропускал меня вперед в дверях.

«Глухарь» много говорил вполголоса сам с собой. Говорил, конечно, по-немецки. Привыкнув, что к его речам все кругом относились как к бессмысленному и непонятному бормотанию, он не стеснялся высказывать свои мысли вслух. Вслушиваясь в его речи, я быстро поняла, что передо мной ортодоксальный католик из патриархальной фермерской семьи. Со мной он объяснялся жестами и мимикой, не догадываясь, что я понимаю по-немецки.

Я чувствовала себя из-за этого как-то неловко. Точно подслушиваю чужие тайны. Ведь знай он, что я понимаю, наверное, воздержался бы от многих высказываний. И однажды я, оторвав кусок газетного листа, написала на полях по-немецки: «Я понимаю все, что вы говорите, учтите это».

Гельмут (в этот день он назвал мне свое имя) страшно взволновался. Он долго смотрел на меня в упор влажными глазами, потом поцеловал мою разбухшую в мойке руку, насквозь провонявшую баландой, и выразил уверенность, что «гнедиге фрау» не использует во зло его речи. Он видит это по моему лицу.

Вскоре произошел эпизод, еще больше расположивший Гельмута ко мне. Это был драматический для меня эпизод, вернувший мне на время былую остроту восприятия жизни и великого Ужаса, остроту, притупленную лагерной ежеминутной борьбой за существование.

Однажды утром на нашу «горкомхозовскую командировку» пришел этап из тайги. Это были люди, отработанные на приисках, живой человеческий шлак, негодный больше для работы в забое. Во время этапирования они умирали, как . . . Чуть не написала «как мухи», но остановилась. Ведь гораздо правильнее сказать, что мухи падают, как колымские доходяги. Уцелевших сортировали в Магадане, частично оставляя здесь, но главным образом

направляя в такие места, как, например, Тасканский пищекомбинат, где они еще успевали до ухода в лучший мир послужить благородному делу освоения Крайнего Севера на «легких работах». Позднее я узнала, что эти легкие работы заключались в 12-часовом ежедневном пребывании на пятидесятиградусном морозе в тайге, где доходяги рубили ветки стланника — сырьё для пищекомбината.

Итак, пришел один из таких обратных этапов. Как всегда в таких случаях, в нашей кухне и столовой начался аврал. Надо было срочно накормить этапников баландой, выдать им хлеб, перемыть груды внеплановых мисок. Я не разгибая спины орудовала у своей мойки в тот момент, когда в окошечко просунулась голова, повязанная поверх шапки грязным вафельным полотенцем.

— Кто тут из Казани? — прохрипела голова.

Я вздрогнула. В сознании понеслись десятки жгучих догадок. Может, в этом этапе умирает мой муж? А может, этого человека прислал кто-то из друзей? Кто же именно?

— У нас там доходяга один ваш, казанский . . . Совсем доходит. К ночи наверняка дубаря даст. Вот он услышал, что тут женщина казанская в столовой работает, да и послал меня. Хлеба просит. Хоть перед смертью наестся ему охота. Можете одну паечку земляку отдать? Вы ведь тут около еды . . .

Голос его дрогнул от смешанного чувства острой зависти и в то же время какого-то униженного преклонения перед теми, кто сумел занять такую позицию в жизни. Около еды!

— Обещал мне за труды полпаечки, — сказал он, утирая задубевшим от вековой грязи рукавом бушлата со лба и щек капли пота, идущего от моей мойки.

— Вот возьмите, — сказала я, протягивая свою пайку. — Привет передайте. Погодите, а кто же он? Фамилия как?

— Фамилия-то? Майор Ельшин. В НКВД там в Казани работал.

Пайка дрогнула в моей руке и упала на пол. Майор Ельшин! Передо мной крупным планом, как на экране, поплыл уютный кабинет с большим окном на бульвар Черное озеро. В ушах зазвучали бархатистые баритональные звуки майорского голоса. «Разоружитесь перед партией! . . . Вы романтическая натура . . . Вас увлекло это гнилое подполье . . .» Он! Это он квалифицировал мои «преступления» по смертному восьмому террористическому пункту. Это он сделал меня «страшным зверем тюрзаком». Хорошо, пусть он не мог отпустить меня на волю, чтобы самому не угодить под зубцы этого «колеса истории», но ведь мог же он вполне — это было в его власти — дать не десять лет, а пять . . . Мог не ставить на мне тавро «террор», а ограничиться хотя бы «антисоветской агитацией», которая еще оставляла какие-то шансы на жизнь. А бутерброды? Разве можно забыть эти кусочки французской булки, прикрытые ломтиками нежно-розовой, благоухающей ветчины? Он ставил тарелку с этими бутербродами передо мной — голодной узницей подвала — и искал: «Подпишите протоколы и кушайте на здоровье!»

— Вы что, знали его? Он, говорят, не вредный был. Других-то энкавэдэшников пришили многих на приисках. А этому никто не мстил. Все говорят — невредный. Ну да уж теперь все равно: нынче к ночи обязательно дубаря врежет. Я уж знаю, нагляделся. Как зубы обтянутся да вперед вылезут изо рта, так — все . . .

В глубине запавших орбит посланца мелькнула темная тень опасения — неужели уплывет из рук эта пайка, такая близкая, из которой ему обещана половина?

Обтянувшиеся зубы . . . Это была как раз та деталь, которой недоставало, чтобы прекратить мои колебания. Вылезшие из лунок цинготные зубы, обтянутые сухой кожей и вылезшие вперед . . . Я видела их у умиравшей на транзитке Тани, друга моего этапного.

— Вот хлеб. Передайте . . . Пойдите! Только скажите ему, что это от меня. Запомните мою фамилию и скажите ему ее . . .

Ноги вдруг отказались меня держать. Я села на перевернутый ящик, служивший нам обеденным столом.

— Вас ист лоз? — тревожно спрашивает Гельмут-глухарь, подсовывая мне бумагу и карандаш для ответа.

— Тот, кто прислал за хлебом, это мой следователь.

— О-о-о . . .

Последовавшие затем дни были для меня страшной мукой. Этап ушел, я не узнала, умер ли Ельшин, бывший блистательный майор, чьей функцией было соблазнять свои жертвы пряником, пока другие хлестали их кнутом. Но меня терзало мое собственное поведение. Как могла я унизиться до такой мелкой мстительности! Зачем потребовала, чтобы ему сообщили мою фамилию, зачем постаралась отравить горечью этот последний в его жизни кусок хлеба? Гнусность какая! Разве в этом аду мы уже не квиты, не заплатили друг другу за все? Счет закрыт. Закрыт самим фактом его смерти, ТАКОЙ смерти.

Но в то время, как я терзалась такими мыслями, «глухарь», наоборот, страшно поэтизировал эту пайку хлеба.

— Вы останетесь живы, слышите? — шептал он мне во время работы по-немецки. — Вы выйдете на свободу. Потому что вы дали хлеб своему врагу . . . Я ваш друг навсегда. Я готов за вас отдать жизнь.

К несчастью, в самое ближайшее время Гельмуту пришлось делом доказать серьезность этого заверения.

Дело в том, что пришла к концу неделя, которую Ахмет-ага дал мне на то, чтобы отъесться. Все чаще я ловила на себе его плотоядные взгляды. А когда однажды утром он, распустив всю свой павлиний хвост, преподнес мне большой пуховый платок (придурки легко добывали такие вещи из дезкамеры, где грабили новеньких под предлогом дезинфекции), я поняла, что передышке пришел конец. Придется снова отправляться на «общие».

— Нет, нет, спасибо, мне не надо этого платка . . . У меня есть лагерный, он теплый . . .

Ахмет плотно сжал губы, и рот его стал похож на захлопнувшийся капкан.

— Знаю, что ты культурный . . . Сказали мне, что раз культурный, нельзя сразу. Ахмет ждал. Кормил. Сегодня — культурный, завтра — культурный . . . Сколько можно быть культурный?

Он раздраженно отошел от меня. Но через час потребовал, чтобы я зашла к нему в каптерку.

— Возьмешь тряпки для пол мыть . . .

Я давно просила у Ахмета новую половую тряпку. Предлог был удачный. Но мне все же было страшно идти в темную каптерку. Да нет, не посмеет. Здесь все рядом, все слышно, я закричу, если он . . . Но на всякий случай торопливо нацарапала Гельмуту записочку: «Ахмет вызвал в каптерку. Следите». Он успокоительно кивнул головой, и его глубоко сидевшие глаза зажглись фанатическим огоньком.

Под потолком каптерки тлея красноватым светом маленькая лампочка. Ахмет в позе пресытившегося падишаха развалился на мешках с тряпьем.

— Не хочешь платок, на вот это!

Длинное ожерелье из каких-то нестерпимо сверкавших стекляшек победно позвякивало в его руках. Видимо, его великолепие полностью отражало цветение его шеф-поварского сердца, и теперь он считал свое дельце вполне слаженным. Мой отказ принять подарок пробудил в нем неандертальца. Дверь, к которой я бросилась, оказалась запертой на ключ. Я закричала. На меня надвигался рот-капкан, сверкающие углы крымских глаз.

Вдруг хлипкая дверь каптерки дрогнула, заскрипела, подалась вперед. Рывок — и . . . Я увидела Гельмута, лежащего на полу с оторванной дверью в руках. Казалось, что он отброшен волной гнева, которым пылало его лицо. Не то раненый гладиатор, не то средневековый охотник, одержавший победу над диким кабаном . . .

Секунда молчания. Затем — взрыв обоюдных немецко-татарских проклятий. Впрочем, Ахмет быстро перешел на русский.

— Я вам покажу, сукины дети! Стакнулись, значит? Глухарь, значит, лучше Ахмета? Сейчас к нарядчику пойду . . . Обоих выгоню! На трассу оба! В такой этапчик у меня загремите оба, что костей не соберете!

Но шеф-повару пришлось отложить на несколько часов свою «кровавую месть». Прибежавший староста возвестил появление на нашей территории еще одного огромного «обратного этапа» с приисков.

— Быстро! Срочно организовать кормежку! А то мрут на ходу, а ты отвечай за них! Что-о? Снимать с работы! Нашел время! Командуй давай! Всех за полчаса накормить!

Ахмет заметался.

— Глухарь пусть один моет! — скомандовал он. — Нечего им там рядышком колдовать! А ты — марш на раздачу! Покантуйся напоследок!

Я стою у раздаточного окошка, методически опуская черпак в бачок с баландой, вручаю полные миски каждому из проходящей передо мной очереди фантастических существ, закутанных поверх бушлатов в мешки, обмотанных тряпками, с черными отмороженными, гноящимися щеками и носами, с беззубыми кровавистыми деснами. Откуда они пришли? Из первозданной ночи? Из бреда Гойи?

Какой-то апокалиптический ужас сковывает все мое существо. Но я продолжаю яростно мешать баланду в бачке, чтобы налить им погуще, посытнее.

Идут и идут. Нет конца их черной очереди. Берут негнушимися пальцами миску, ставят ее на край длинного сколоченного из досок стола и едят . . . Вкушают баланду, как причастие. Как будто в ней вся тайна сохранения жизни.

Вдруг один из них наклоняется ко мне в окошко и просит:

— Погорячей там нельзя ли? Кишки прогреть . . .

— Очень горячая! Ешьте на здоровье, товарищ, — говорю я, плача. И вдруг слышу его громкий крик:

— Братцы! Да тут баба! Митька! Подь сюда, баба здесь, право! Господи! Три года из бабьих рук щей не хлебал . . .

Нет, это не Ахмет, не крымский шеф-повар . . . Это мужик, простой русский мужик, отец семьи, уже три года живущий на страшно колымском прииске жизнью бесполого вьючного животного. На приисках они не видят женщин годами. И эта миска из моих рук пробудила в этом человеке совсем было угасшее человеческое.

— Плесни еще добавочку, голубка! — просит он через несколько минут, подходя с другой стороны окошка. — Мила ты моя бабонька! Скажи что-нибудь своим бабьим ласковым голосом, хоть послушать, как оно было раньше-то . . .

Он протягивает миску своей огромной, когда-то сильной рукой. Рука земледельца, рука каменотеса с большим черным ногтем.

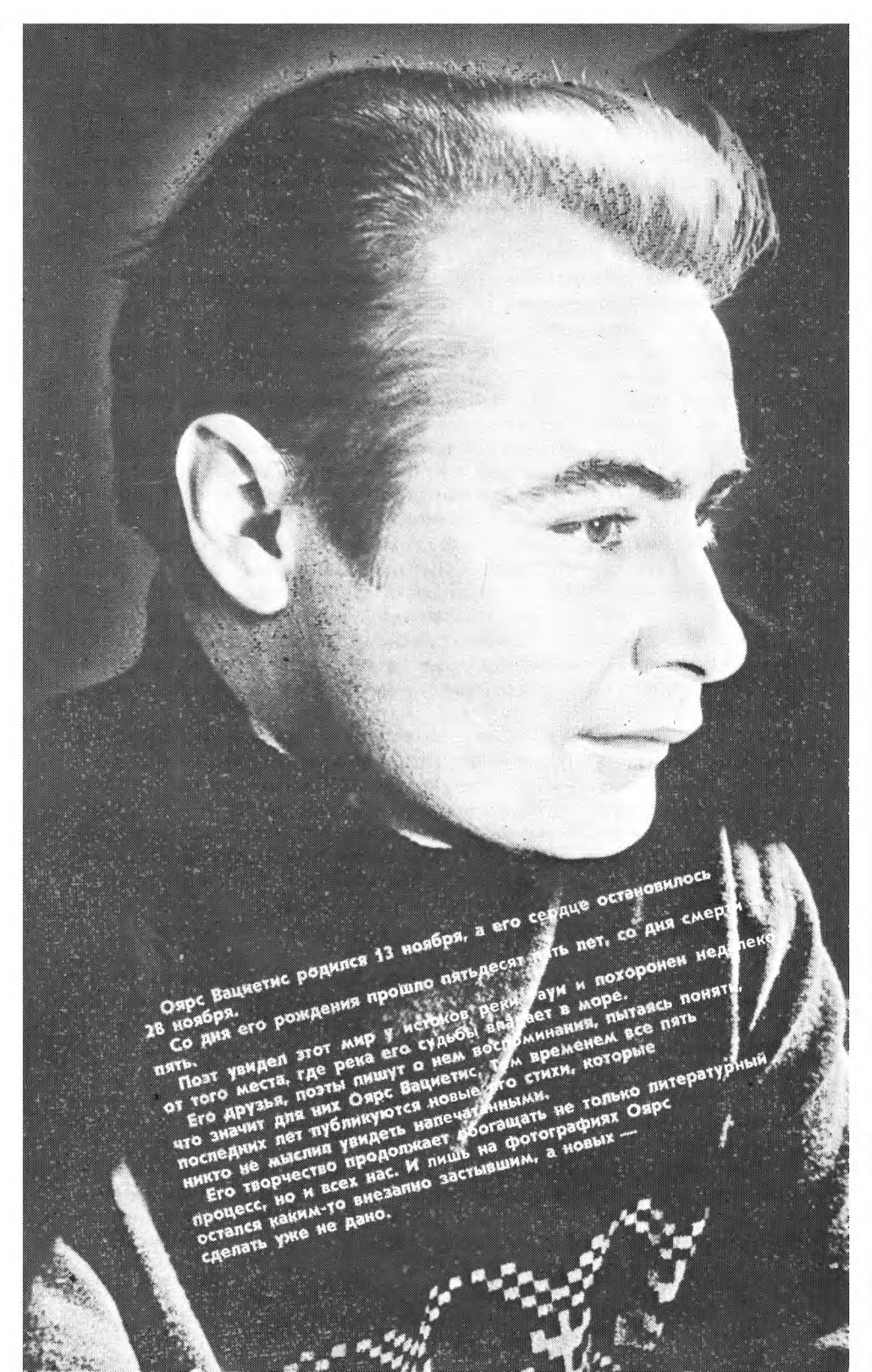
— Спасибо, родная, дай тебе бог детишек своих повидать.

Я вдруг наклоняюсь в окошко, притягиваю к себе его голову и целую его в беззубый, обросший колючей щетиной рот.

. . . На следующее утро Верка-нарядчица очень часто повторяла тревожную формулу: «Налево! Отставить!» Формировался большой этап в тайгу из наших «тюрзаков». Я была «отставлена» одной из первых. Не знаю, приложил ли к этому свою мстительную руку Ахмет-ага. Вернее, просто я попала в общий список отправляемых в знаменитый таежный совхоз Эльген, куда все наши больше всего боялись попасть и куда почти все все-таки рано или поздно попадали.

Я успела нацарапать записочку Гельмуту и сунуть ее тем, кто шел на «горкомхозовскую командировку». Но получил ли он ее и как сложилась судьба этого судомоя-рыцаря, пожертвовавшего из-за меня спасительной крышей, я так и не узнала.

Продолжение следует



Оярс Ваццетис родился 13 ноября, а его сердце остановилось 28 ноября.

Со дня его рождения прошло пятьдесят пять лет, со дня смерти — пять.

Поэт увидел этот мир у истоков реки Гауи и похоронен недалеко от того места, где река его судьбы впадает в море.

Его друзья, поэты пишут о нем воспоминания, пытаются понять, что значит для них Оярс Ваццетис. Тем временем все пять последних лет публикуются новые его стихи, которые никто не мыслил увидеть напечатанными.

Его творчество продолжает обогащать не только литературный процесс, но и всех нас. И лишь на фотографиях Оярс остался каким-то внезапно застывшим, а новых — сделать уже не дано.

Написать воспоминания об Оярсе. Представить в Союз писателей до 1 ноября с. г. Все мы, знавшие Оярса, получили подобную просьбу. Ну и что тут трудного? Начнем с начала, запечатлеем на бумаге живущие в душе мгновения и свои мысли о том, что сохранила память. Из этих осколков, из этой мозаики мгновений читатель сложит витраж — и засияет Оярс как живой (правда, видны будут черные полосы на стыках, да это ничего, стыки только оттеняют сверкание витражных красок)

И вот я начинаю с начала и пишу об Оярсе третий месяц. Копятся смятые и выброшенные зачины, а нужные слова все не приходят. Непонятно — мы ведь были знакомы с Оярсом тысячу лет, я знала его почти всю свою сознательную жизнь. И мне просто следует рассказать о том, каким я его знала.

Нуте-с, каким же?

И вдруг словно оборвалось что-то в груди — нет, не знала! Оярс — он никого не подпускал к себе. И лишь в поэзии душа его была нараспашку.

Бывают сравнения затертые, но неизбежные. Оярс взошел на нашем небосклоне внезапно как ярчайшая звезда. Талантливее всех. Моложе всех. Всех красивей. И до того изумленный всем этим, что ни в одной душе, самой черной, мрачной душе, так и не зажегся завистливый огонек. Скажем, Имантсу Зиедонису жгуче завидуют всю жизнь, но я не встречала ни одного человека, который бы завидовал Оярсу. Его любили — любовью всепрощения. Ему все прощалось — талант, слава, красота и даже то, что с людьми он держался на дистанции, а это уж не простилось бы никому.

Парк «Аркадия». Кто в Риге не знает «Аркадии»? Но многие ли знали Ешку — злого лебедя, обитателя этого парка? Он был мне известен только потому, что однажды Оярсу взбрело на ум продемонстрировать мне этого лебедя, чтобы развеять стереотипное представление о белом благородном создании, задумчиво скользящем по темным зеркальным водам. По идее, Ешка был бел, но замурзан, что твой бездомный кот на мусорном дворе. И не скользил он вовсе по водам, а, отчаянно ругаясь, ковылял по берегу, выпрашивая угощение. Не давали — вступал в драку. С переменным успехом, если судить по оципанным крыльям и надломленному клюву. И в ядовито-синем киоске, стоявшем тут же на берегу, потому, верно, торговали булочками, чтобы посетители парка могли откупиться от Ешки, не то бы совсем повывелись.

Оярс говорил мне, что приходит к Ешке чуть ли не каждый день, но лебедя это ничуть не трогает. Гостинец или жизнь! И этот-то Ешка был, видимо, тем единственным существом, который не любил Оярса просто за то, что есть такой Оярс на белом свете. Принципы надо уважать. И Оярс глубоко уважал старого драчуна. Ешка был неотъемлемой частью его мира.

Визма БЕЛШЕВИЦ



Да, я помню Оярса — робким, словно пугающимся людей, чужих, всего вокруг Мы с Аусмой взяли Оярса и поехали в Саулкрасты. На дюне между Саулкрасты и Скулте оставили машину, пошли с Аусмой к морю, он из машины не вылез. Как будто страшился неба, моря, ветра. Нахохленный, несчастный, сидел в машине и ныл, просился домой. «Имка, назад в Ригу!»

«Страх» овладевал им и во время делегатских поездок, например в Горной Кабарде, где он не отправился с нами в горы, а, преступив все законы поведения в гостях, остался в гостинице, наедине со своим «приступом одиночества». Эти «приступы одиночества» мешали ему, сковывали, брали за горло — и он не являлся на торжественные заседания, важные собрания, официальные приемы, даже на съезды СП. Этакое чуть ли не бессовестное игнорирование приличий. Особенно возмущался этим поэт Валдис Лукс: «Ишь, гении что себе позволяют». Но и он умолкал перед его стихами. Так Оярс и жил — вольнее нас, вольных, смелее нас, смелых, и боязливее нас, боязливых. Я называл это «миробользнью», на меня тоже иногда находило.

Я родился среди курземских рыбаков. У нас считалось стыдным сказать человеку, пусть другу закадычному, ласковое слово. Нежность клещами из души не вытянешь. Среда, из которой я вышел, — жесткая, суровая среда. Поэтому однажды (то ли после чтения по телефону стихов, то ли объяснений в трубку или пространного обмена ироническими замечаниями), впервые услышав от Оярса: «Имка, я же люблю тебя!», я остолбенел пораженный: как можно говорить такое! Так я учился нежности у Оярса. Он словно выдал мне разрешение на нежность. Сам я вряд ли себе это позволил бы. В этом тоже сказывалась смелость и безоглядность его натуры — при всей мужественности быть с человеком невыразимо, чудно, до смешного нежным.

Нелегко сформулировать, определить тот мир общения, те информационные уровни, на которых мы еще встречались с ним именно как поэты — когда понимание приходит с полуслова, без слов, по выражению глаз. Ночами, когда он звонил, чтобы прочесть стихи, я понимал, что это как бы просьба о помощи: открылась бездна мироздания, ночь темна и глуха, спит все живое, не дремлет только великое могущество вдохновения, и ты, его господин и повелитель, вдруг ощущаешь себя одиноким и покинутым, и хочется кому-то исповедаться в своей силе — Господь звонит тварям своим, дабы сжалились над Ним. А если что-то остается непонятым между нами, недопонятым, не те нюансы, не то предощущение, тогда и вырывается это: «Я же люблю тебя!» — как последний аргумент. И кладет трубку.

Имантс ЗИЕДОНИС

СЕКРЕТНЫЙ УКАЗ КОРОЛЯ

ПОТЕМКИНСКАЯ ДЕРЕВНЯ

Когда тебе дорога надоест,
Сворачивай к потемкинской деревне.
Но только уговор — ни слова правды,
Не говори, что смысла нет, обрыдло,
Не признавайся, что душа пуста.

Скажи, что ты устал.
И вмиг
Тебе такое ложе приготовят —
Живому не захочется подняться.

Когда потянет к рюмке, не горюй,
Тебя поймут в потемкинской деревне.

Тебе такое пиво приготовят
И поднесут — не снилось и богам.
Но только не обмолвись — хочешь выпить.
Скажи: погряз в страданиях и буднях,
Скажи: от боли корчится душа.
Плети и все простится —
Кроме правды.

Когда поймешь, что сам прогнал любовь,
И предпочтешь любое утешенье —
Тебя спасут в потемкинской деревне.

Устроят представление, парад,
Девицы —
Как январские снежинки,
Любую выбирай и будешь счастлив.

Что чувствуешь — тебя никто не спросит.
Рот приоткрой и вывалится слово —
Люблю.

В потемкинской деревне все бесплатно.
Вернее, не совсем бесплатно, но —
Что скажут о тебе в конце, в итоге,
На это можно и рукой махнуть.

А скажут,
Что на свете ты и не жил.
Что не было тебя.
Но ты же был —
Ты сам свернул к потемкинской деревне,
Ел, что хотел,
И пил, что пожелал,
Любил
И тратил жизнь напропалую.

Ступай смелей к потемкинской деревне,
Но помни твердо —
Землю не копай,
Не трогай стен,
Не просыпайся ночью.

Вонзишь лопату в землю,
Бросит в дрожь —
Бумаги тоньше почва, а под нею
Стерильная и мертвая пустыня.

Не выжить корешку — он обречен.

Но как же так, вокруг цветут цветы?
Но как же так, вокруг растут деревья?

Садовники потемкинской деревни
Бумажные разводят цветники.

И гнут листву из стружки и картона
В потемкинских столярных мастерских.

Предупреждаю, не касайся стен.
Ты полон до краев
Горячей жизнью,
Из рук еще не высосана сила,
Ткнешь пальцем
И прорвешь насквозь бумагу.

Остерегись,
Не просыпайся ночью,
Не то в постели рядом обнаружишь
Огромную резиновую куклу. . .

Трудится ложь в потемкинской деревне.
В бездонные безводные колодцы
Сухую воду носит коромыслом.

Ложь стряпает из теста облака,
Ложь мажет небеса облезлой кистью
И, сделав безболезненный укол,
Ложь тайно тянет кровь твою из вены,
Чтоб чуть подкрасить мертвенный рассвет.

Не бойся малокровия — все в меру,
Кровь вытянет — водицы подольет.

Да, я там был — в потемкинской деревне.
Как я попал туда — об этом после.
Нечаянно стены коснулся, стенка
Разорвалась, я вышел на свободу,

И возвращаться было ни к чему —
Я очутился на своей дороге.

И кончим о потемкинской деревне.
Их много? Мне известно об одной.

Когда в пути меня застигнет вечер,
Опасливо вокруг не озираюсь,
Вхожу в сенной сарай как во дворец,
На сено мигом как на трон взбираюсь —
И сам себе и снам своим король.

Когда на главном жизненном пути
Ты вдруг устанешь от полынной правды,
Сверни с пути, с любого километра,
И ты придешь к потемкинской деревне.

Но помни про запрет —
Земли не рой,
Не трогай стен,
Не просыпайся ночью.

1965

Перевела Людмила АЗАРОВА

ПОЛЕ БРАНИ

Поэма

(фрагменты)

I

Кагыда верне-ошься, мóлодец,
ты с по-оля бра-ани? . .

Весь побелевший вернусь я,
в какой-то рвани,
изголодавшийся весь, тощей,
битый-перебитый, вконец измочаленный,
бешеный я вернусь, отчаянный,
чокнутый из-за черт его знает чего,
но ты удержишься, э-э нет, не себя удержи,
а в печке тепло, и ни в чем не перечь ему, не откажи,
а за печкою чтобы сверчок заливался,
я в окно постучусь к тебе,
изголодавшись как раз по сверчку.

Кому там орется —

«. . ты с по-оля бра-ани? . .»?

Вот он я, вернулся. С того по-оля брани.
Жадного, хваткого, ни на что не падкого,
кроме как на мясо. . . и того накушалось,
там его навалом, мяса — масса,
отбивного, молотого, пареного-жареного,
конского, верблюжьего, бараньего, козьего,
говядины, индюшатины . . . и мясо еще
тварей каких-то, похоже, что южных.
Но всего-то боле у поля у жадины
было человечины, убоины свежатины.

Бранное поле. Страдное, жадное,
кто тебя видел, забудет нескоро.
Каждый перепахан — как лемехом вспорот,
выпотрошен, и ежели в ком
осталась жадность, то — жадность к сверчку,
к тому крочку, на который я
шинель повешу. Да жадность к песне:

прижму ее вместе с губами к губам
твоим, раздавлю, как клопа,— поползал!

кагыда верне-ошься, молодец,
ты с по-оля бра-ани,

давай, брат, выкладывай слова и мотив,
и, как телега по ребрам брусчатки,
пусть гром громыкает, и пусть ворота
конюшни копытами вышибут кони,
и пусть корова идет хошь куда
из хлева, и пусть, трепыхаясь, ростки
отбросят башкою всю землю, и пусть
река сбросит лед, а ты — свои юбки,
и выкинь в окно их! Голодный
пришел, видишь, молодец
с по-оля бра-ани.
Он голоден так,
что от голода, чуешь,
земля под ним —
кораблем.

II

Сегодня поле —
не то что ране.
Не «по-оле бра-ани».

Неровно, изрыто
где-то.
Но — сыто,
одето.

Ты стал, друг-Шекспир,
для меня сладковат
и уж больно речист.
И все старомодней
глядится твой фрак,
Франц Лист.

Фрачок устарел, брат,
как твист.

Как свист?
Как посвист птичий с небес?
Ага... Он в небо полез.

Ясненько: кто голопуз, голозад,
задницу небом прикрыть норвят.
Когда «Волги» нет, чего ж не провить:
«Быть или не быть?»

Тих-хо... Вы ведь не на собрании.
И тем более не на «по-оле бра-ани».

— Как вы выразились? Поле дряни?
— Брани.
— Какие неуловимые грани!
— А хорошо после бани —
в бар.

Бар — это место,
чтоб выпустить пар.
Анекдотик, соленький
и с прянцой,
залепишь, особенно если с нею,
а она:
— Что вы. . . я никогда не краснею!

— Но бар — в выходные,
а нынче — труды?
— Что вы спросили? Насчет еды?
Спасибо, я сыт.
Образо. . . ?
Образован.
Радиофицирован, телевизован.

Поле бра-ани?
Вы что же, забыли,
зачем вы били того. . . врага?
Вот вам обещанный рог избылья.
Не «рок», а — «рог». От слова «рога».

Нет, не «солидарность» я сказал,
а — солидность.
К слову. . .
сегодня куплю моей крошке,
чтобы душа, так сказать, веселилась,
цвета небес. . . голубые сапожки.

Не надо мне про шекспиров и листиков,
молодой человек, я вас попрошу. . .
Я эту мистику, эту отраву
на дух, понимаешь ли, не выношу! . . .
1967

Перевел Роальд ДОБРОВЕНСКИЙ

СЕКРЕТНЫЙ УКАЗ КОРОЛЯ

Есть сведенья, что в королевстве зреют бунты,
что армия ленива и чиновники объелись словно
боровы и что им вместо флага государства
мерещится везде свой балахон, все это принимая во
вниманье, во имя укрепления государства и
издается высочайший сей указ.

§ I

Об армии. Низшие чины гонять, как псов, и есть давать
им столько, чтоб могли они бежать, и всем кускам
вести учет строжайший, а высшим же чинам, которые
уже носить не в силах брюхо, сидеть в штабах,
руководить оттуда и не вылезать, чтоб не
подумал наш народ, что армия из шпика состоит,
и больше орденов на брюхо вешать, чтобы оно не
лезло на глаза, и бляхи выпускать потяжелее.

§ 2

О чиновниках. Поскольку их рождаемость растет, и тот, кто честен, тоже места жаждет, ввести такой порядок в государстве, чтоб службы размножились, чтоб больше не было очередей, тогда создать чинов так много, чтоб каждому хватило, и стремиться к такому положению, когда наступит в нашем государстве время, что будет чин у каждого, от министерства и до кухни, и междоусобная грызня за повышение сгонит все жиры, которые пока мешают государством управлять как полагается.

§ 3

О бунтах. Все большие подавлены должны быть беспощадно, и это дойти должно до каждого штабного брюха, если оно не хочет эполеты потерять и бегать среди тех, кто куски считает. А маленькие бунты нам нужны, чтобы народ усвоил, для чего его правитель содержит огромнейшую армию ищеек и почему никто никому и даже сам себе не может верить. Нет ничего предосудительного в том, что порой взорвется где-то бомба и чиновник получит не особенно серьезную царапину, ибо это оправдывает его жестокость, а по сему каждому штабному брюху порою не грешно оставить на площади торговой мешочек пороха и ящик бомб.

§ 4

О секретности указа. Высочайший сей указ не должен укрываться в строгой тайне, лишь обязательно одно: на каждом документе, увидавшем свет, быть должен гриф, что совершенно он секретен.

1970

Перевел Юрий КАСЯНИЧ

На первом — и последнем — пятидесятилетнем юбилее поэта обстановка была праздничная и напряженная: зал заполнен до отказа, а уверенности, что юбиляр появится, не было до самого конца, вернее — начала; сколько я слышал, поэт был нездоров перед этим и нервничал, нервничали и другие, так или иначе причастные к событию.

Поэт, вышедший на огромную сцену театра, показался маленьким до смешного Растерянным В растерянности своей почти комичным. И тут зал стал подниматься. Он поднимался не рывком, не сразу, а рядами и волнами, и были пятна и пространства в зале, особенно ближе к сцене, где дольше всего медлили и словно бы недоумевали: что, неужели все-таки вставать придется? Немного это было, но выразительно; и конечно, ни одна камера этого не запечатлела — а жаль! И вот весь зал стоял, сам себе удивляясь, радуясь вдруг обретенному, никем не подсказанному, не навязанному единству.

След сильного надлома, происшедшего задолго до того, как я познакомился с Вацетисом, ощущался всегда. Потом мне попадалось кое-что из «критики» тяжелых для него, страшных времен.

Когда, кому первому пришла в голову несчастная мысль, что кто-то лучше поэта знает, о чем и как он должен писать? Впрочем, не так ли же точно крестьянину предписывали, когда и что ему сеять. Ссылались на Ленина, выдирали цитаты, четвертую, пятую долю фразы, насильственно обрывали ее многоточиями. Находились спецы, знавшие, откуда выдрать, где оборвать, в каком случае употребить цитату, чтобы придать ей наибольшую убойную силу.

И — били без жалости. Те же силы, что отравили последние годы Чака, что вычеркивали из литературы имена Аспазии и Фр. Барды, те же самые силы не могли не обрушиться на Вацетиса, ибо поэт этим силам противостоит, поэт с ними несовместим, как слово «бог» несовместимо со словом «мероприятие».

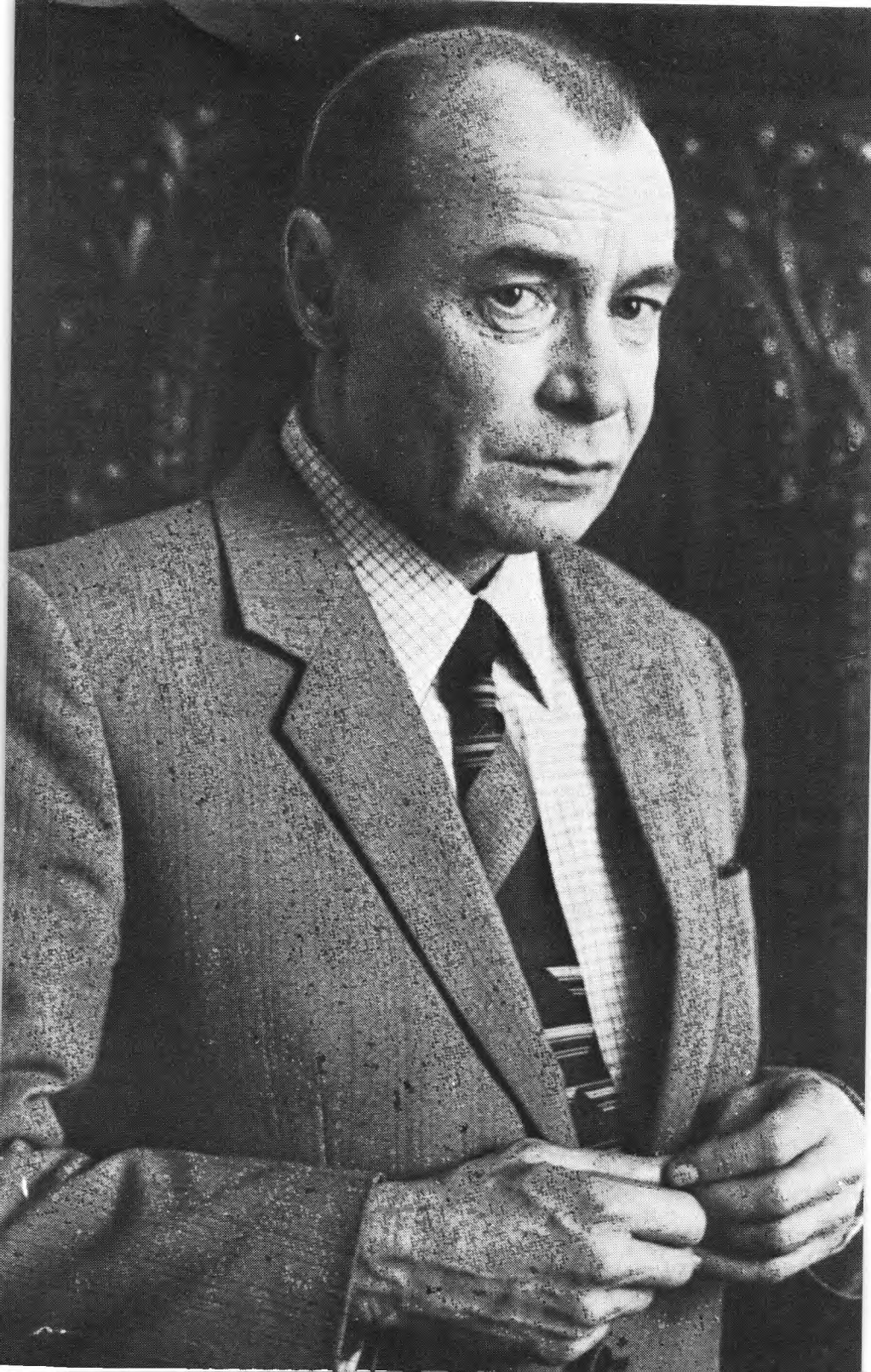
Вацетис был из тех, кто в худшие времена спас честь, достоинство литературы. У всех еще на памяти странная ситуация: газетные передовицы, плакаты и лозунги, радио и телевидение безумолку провозглашают осанну; самохвальство и самовозвеличивание, самонаграждение и ликование достигли каких-то гипертрофированных степеней, а книги честных писателей рисуют картины разорванной, трудной, порою беспрсветной жизни с нагромождением грозных, неотвязных проблем. Как будто две противоположные реальности существовали разном, в одном и том же времени и пространстве, не пересекаясь.

При жизни Оярса я опубликовал статью о его поэзии, приведу из нее несколько строк — концовку. «Не поддается Вацетис однозначным определениям. Пользуется правом всякого живого, непредсказуемого явления сопротивляться всем попыткам подбить итог, подвести черту, всем окончательным суждениям Вацетис — не происшедшее событие Вацетис — событие, которое происходит».

Прошло несколько лет со дня смерти поэта. А слова эти я сегодня могу повторить, пожалуй, с еще большим убеждением, чем тогда. Выходят все новые книги Оярса Вацетиса. Они удивляют и в то же время подтверждают то, что мы всегда знали в глубине души. Ничьи старания не смогли убить в поэте ту «тайную свободу», которая, конечно же, и есть его суть. Пространство жизни было как бы заминировано многочисленными табу; но жить и писать, соблюдая их, поэту нельзя: инстинкт истины в нем сильнее инстинкта самосохранения. Никак не может он броситься исполнять сиюминутные пожелания начальства: за ним всегда законы более долговременные.

Рояльд ДОБРОВЕНСКИЙ

Фото Гунара Янайтиса



Оярс Вацietис как поэт родился в 195. . . Нет, привести точную дату невозможно. Был ли это год 1953-й, а может и 1956-й, или другой какой-нибудь — кто знает. Старый календарь и хронограф тут не годятся. Все линейно-плоское, одномерное — не про Вацietиса. Эти категории ничего выразить не могут. Здесь иные ритмы, иные взаимосвязи.

Поэт рождался на рубеже двух эпох. Крестился в купели общественного возрождения. В пору, когда был отправлен на свалку сталинский деспотизм.

Да нет же! Поэт рождался в трагических перипетиях, когда сталинский деспотизм вернулся в обличье брежневской авторитарности. И выпущенный было Хрущевым джинн свободы, равенства, правды и демократии вновь был загнан начетчиком и доктринером в глубины общественного подсознания на долгие годы.

Но, в отличие от большинства писателей (и вообще интеллигенции), которые оживают для дела революции только на ее подъеме, Вацietис, кажется, весь был рожден для воли вольной. Поэзия и свобода, поэзия и истина, поэзия и справедливость, поэзия и любовь существовали для него только слитно, являлись органичным способом, видом, формой жизни, бытия.

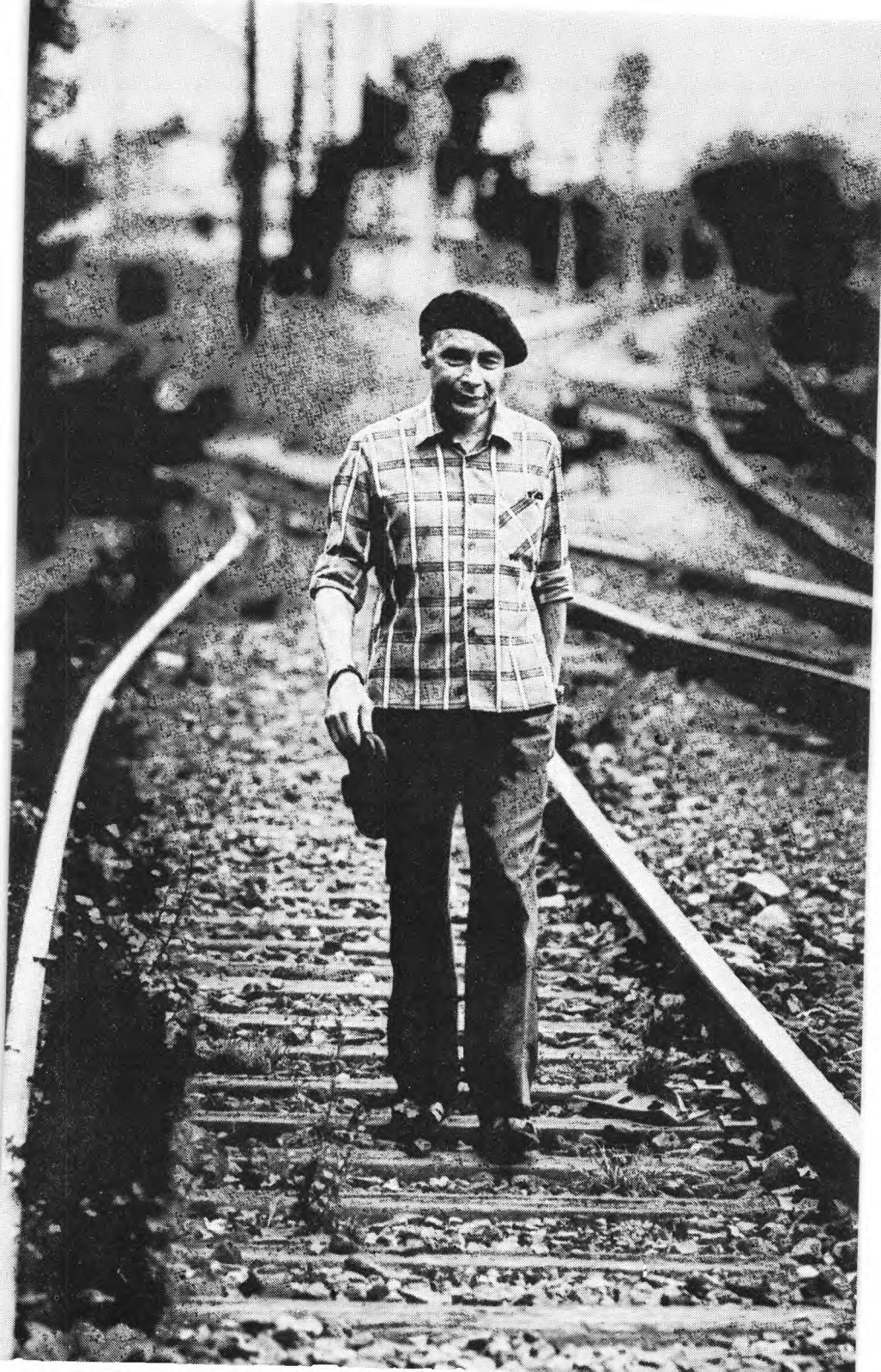
О Вацietисе как личности, человеке, который не укладывался в прокрустово ложе норм и стандартов, можно исписать горы книг. Он был коммунистом, но коммунистом со своими «святцами». Листаешь протоколы партбюро, год за годом, десятилетие за десятилетием — пороки поэта скрупулезно документированы. Собрания посещает редко, лекторий — еще реже, членские взносы платит несвоевременно. Вацietис обещает исправиться. Но снова и снова. . . ага, вот и жалоба директора дома культуры — сорвал вечер поэзии, а вот донос районного начальства — буйствовал и распевал националистические, на их начальственно-прозорливый взгляд, песенки. Стоит поддаться стихии догм и приклеивания ярлыков, а власть этой стихии по-прежнему огромна, и мы придем к выводу: Вацietис был никудышным коммунистом.

Плохой коммунист и первый поэт?! Эта резкая антитеза мучает и преследует меня, когда я размышляю о Вацietисе и его эпохе. Но отнюдь не поэт — эпоха перекрашивалась, как хамелеон. И надо ли винить поэта, не являвшегося на бесчисленные собрания, где мы, opakотив настоящее, славили революционное прошлое и воспевали наших выдающихся вождей и выдающиеся достижения, покамест общество катилось в пропасть.

Я не могу писать о Вацietисе как о нелюдиме-одиночке. Еще более невозможное занятие — склеивать из обрывков воспоминаний какую-то мозаику. Не участвуя в преувеличенной писательской суете на общественном поприще, поэт жил в своей эпохе напряженнее и интенсивнее любого из нас. Вацietис был трагической личностью, но трагической не столько в индивидуальном, сколько в общественном плане — в душе поэта бушевали коллизии эпохи.

Янис ШКАПАРС

Фото Оярса Мартинсона





ПОСЛЕДНЯЯ ЖЕНА МЕДВЕЖАТНИКА

Рассказ

Перевел Юрий АБЫЗОВ

Поскольку Андрис ЯКУБАН не создал ни крупного романа, ни, тем паче, трилогии, измерить вес его таланта фунтами невозможно. Сей мастер короткого рассказа — сборники «Моя белая гитара» (1968), «Ужин с клоуном» (1974), «Уход колдуньи» (1980), «И вновь черная собака у ног» (1988), на русском — «Реставрация бабочек» (1978), «Уход колдуний» (1984) — лукаво переплетает иронию, сатиру и сарказм с лирикой, отчето даже всякий изображенный им хам или халуга наделен некоей сердечностью. Точные, типичные маски, которые герой считает своей сутью, по ходу сюжета трескаются, осыпаются, сквозь прорехи светится естество, прорастает жизнь. Якубан не бросает героя в крошечной тьме, а почти всегда оставляет ему на небе звездочку. Даже если тот покончил с собой.

«Последняя жена Медвежатника» — из цикла рассказов о Береговой улице, на которой живут скромные трудяги и не менее скромные дармоеды. Каждый дом — своя история, свой рассказ.

На одной из тихих и густо заросших аллей Лесного кладбища находится основательно и с размахом сооруженная еще до первой мировой войны семейная могила Абелей. Большую стену серого гранита, где еще достаточно места для других Абелей — их имен, фамилий и дат рождения и смерти до скончания века, как-то несуразно заслоняет столб черного мрамора, на котором изображено поникшее дерево вроде груши с большими и красивыми плодами, а надпись гласит: «Здесь вечным сном покоится моя последняя жена Эйжения Пурвите».

Кладбищенская тишина и ненарушаемый покой среди серого гранита и черного мрамора здесь кажутся наполненными каким-то утолением жажды, какой-то неповторимостью, которую потомкам уже не узнать, а можно только ощущать, воображать и гадать, почему возник именно такой памятник и такая надпись.

Ныне уже мало кто знает, что Эйжения Пурвите впервые увидела Яниса Абеля, которого все во второй половине его жизни звали только Медвежатником, в тринадцать лет, когда она была еще только Ией, когда с младшими сестренками последнее лето жила на втором этаже того дома на Береговой улице, где на самом краешке берега растет такая могучая груша, ну прямо как дуб.

Весной эта груша покрывалась белым цветом и выглядела гудящим сугробом, потому что была полна пчелами, а в конце лета, когда вместо белых цветов висели мелкие плоды, пчел сменяли осы и дети.

В то утро Ия проснулась раньше всех, сад и река еще были затянуты влажным туманом. Ия вскарабкалась в свой романтический дом, устроенный на груше, и приготовилась швырять плоды сестренкам прямо в постель, чтобы встали и подошли к раскрытому окну, на втором этаже, чтобы увидели это замечательное утро, полное свежести и неуголимой жажды.

На улице из белого тумана вынырнула черная «Волга» и, взвизгнув тормозами, остановилась у ворот. Из машины вылез рослый человек в свитере толстой вязки, с уже седеющими висками, гордым и неотвратимым взглядом.

Увидев на большой груше длинноногую девчонку, он, прищурив темные глаза, спросил:

— Груши сладкие?

— Конечно, — ответила Ия.

— Кинь-ка мне одну! — продолжал человек глуховатым и хрипловатым голосом.

Ия сорвала самую желтую и самую большую, широко размахнулась и кинула. Глядя на падающую грушу, она с замиранием сердца почему-то ждала, что мужчина еще что-нибудь скажет, такой у него глухой и надтреснутый голос.

Человек смотрел на падающую грушу, словно на какое-то чудо, а поймав этот мелковатый плод, съел в два приема, словно сливу. После этого голос его зазвучал еще более глухо и хрипло.

— Когда я был в твоих годах, эти груши были такие же сладкие и такие же мелкие, — помолчав, произнес он еще глуше и еще хриповатее. — А куда яблони делись? Что-то яблонь не вижу. Вымерзли?

Человек смотрел своими темными глазами так серьезно и ждал серьезного ответа, что, казалось, от этого ответа зависит вся его будущая жизнь.

— Насколько я знаю, яблони здесь никогда не росли, — неуверенно ответила Ия, не зная, что ей делать: оставаться на груше или слезать?

— Ты что, хозяйка этого дома? — спросил человек еще глуше, голос его ухнул, как ухаёт сломанное дерево, ударяясь о замерзшую землю.

— Я дачница. — Для надежности Ия осталась на дереве. — Всего лишь дачница. Хозяин с хозяйкой еще спят.

— Хозяин с хозяйкой не спят. Хозяин и хозяйка наконец-то вернулись домой! — неожиданно сказал решительным голосом человек, в голосе его взмыли гордые соколы, темные глаза вдруг вспыхнули как два костра.

Он открыл багажник своей черной машины, достал оттуда длинную трехстволку и три раза гулко выпалил в воздух.

В речных камышах взмыли утки, скворцы и воробьи метнулись прочь, какая-то ворона истошно заблажила, но тут же испуганно смолкла. И я чуть не свалилась с дерева, но уцепилась за могучий сук и тут увидела, как в окне первого этажа появились смятенные лица хозяина и хозяйки, в окрестных домах проснулись соседи, а приезжий прислонил дымящееся ружье к изгороди, распахнул ворота, загнал «Волгу» во двор, из «Волги» вышла дородная женщина с серебряным самоваром, человек же достал из своей черной машины три медвежьи шкуры, бросил их под грушу, дородная женщина с толстой косой, обвитой вокруг головы, поставила кипящий самовар на медвежью шкуру, распустила толстую косу в обильный поток волос и принялась расчесывать их серебряным гребнем, а человек сел рядом с нею и подчёркнуто спокойно стал пить чай из блюдечка, следя прищуренными глазами за тем, как из дома выскакивает хозяйка, кутаясь в тонкий халатик.

Хотя летнее утро было теплое, хозяйка дрожала от холода, она старалась вся уйти в свой халатик, старалась сделаться еще меньше, чтобы окрестные соседи пожалели ее.

Человек, все так же полулежа, продолжая пить чай, познакомил свою первую жену с Марусей, Маруся его жена, они вместе ходили на медведей и прочих зверей, так что смогли приехать домой по-людски — на собственной машине.

Ия, хотя и ребенок, уже видела, как возвращаются из ссылки. Родственники матери возвращались прибитые, грязные, в заношенных ватниках, пропитанные чужим неотмываемым запахом. О пережитом они никогда громко не рассказывали, а чуть слышно шептались, до чего им было тяжело. И все удивлялись, как только они выжили. После каждого перешептывания они боязливо оглядывались, не подслушивает ли кто, не дошло ли до слуха кого-нибудь из посторонних.

Но в этом охотнике на медведей не было ни капельки подобного тихого и невыразимого страха, сразу было видно, что он настоящий мужчина, что он вернулся домой не для того, чтобы боязливо шептаться, горестно плакаться, неторопливо залечивать старые раны, а явился как победитель и несмирившийся мститель, о чем говорила прислоненная к изгороди трехстволка.

Маруся, выпятив большую грудь и вновь заплетая волосы в косу, а косу укладывая вокруг головы, на своем певучем русском языке сказала, что к первой жене своего Медвежатника она не испытывает никакой неприязни, а вот теперешнего ее мужа и видеть не желает. Когда на глаза попадают такие типы, у нее гусяная кожа делается.

Теперешний хозяин, человек с бегаящим взглядом, услышав это, торопливо захлопнул окно.

Медвежатник, увидев это, расхохотался. Ведь он же может выстрелить и в закрытое окно. Чтобы Марусе не портить свою красоту гусяной кожей, этот паршивый тип должен держаться по возможности дальше от мушки его трехстволки, ибо всем

известно, что благодаря лживому доносу этого типа ему пришлось в телячьем вагоне ехать в Сибирь, чтобы тот тип смог залезть в постель к его жене и спокойно истреблять яблоневый сад в его отчем доме.

Первая жена Медвежатника, все так же кутаясь в халатик, пыталась защитить своего теперешнего мужа, сказав, что все яблони померзли в ужасно суровую зиму и в те ужасно суровые годы, когда никто не осуждал культ личности, когда все были уверены, что культ этот будет вечно, что чаще всего именно так убивали нежелательного человека, и ее теперешний муж ее очень любит, он сделал это только движимый страстью, а теперь эта страсть уже утихла, и этой осенью они собирались посадить новые яблони.

Но страсти Медвежатника еще не унялись, он отдал блюдечко с чаем Марусе, поднялся и взял трехстволку, прислоненную к изгороди. Ему Сибири уже бояться не приходится. Надо будет — еще раз преспокойно отправится туда. Как знать, может еще вернется из этого богатого и могучего края не только на черной «Волге», а в белоснежном самолете.

Первая жена Медвежатника разрыдалась, упала на колени, распахнула халат и, похожая на подстреленную и больную птицу, сказала, чтобы он стрелял в нее первую, это она во всем виновата, она любит своего нынешнего мужа.

Так как Медвежатник не смог поднять трехстволку на свою бывшую жену, Маруся сказала, что довести женщину до слез дело нехитрое, и если бы эта женщина не полюбила того гнусного типа, ей, Марусе, не суждено было бы познакомиться с таким хорошим, красивым и смелым охотником.

Маруся отдала Медвежатнику дымящееся блюдечко и посоветовала не размахивать незаряженным ружьем, потому что незаряженное ружье стреляет куда опаснее всякой пули и дроби.

Медвежатник на глазах у всех поцеловал Марусю, и оба вновь опустились на медвежью шкуру пить чай. Вот напьется он чаю, встанет, зарядит ружье и отправит того гнусняка в царство небесное, пусть работает там гнусным доносчиком.

Затаившись в напряженной тишине на своей груше, Ия видела и соседей, которые тесным кольцом окружили двор, глядя на происходящее раскрыв рты, как на захватывающее представление в театре, и Медвежатника, который неторопливо попивал чай из блюденка, поддерживая его тремя пальцами, и Марусю, которая глядела на своего мужа, как на господ бога, и потому подавала супругу маленькие белые кусочки сахара, и бывшую хозяйку, а особенно бывшего хозяина, которые, связав узлы, убились отсюда через калитку.

Тогда Ие было только тринадцать лет, а в тринадцать лет чужого человека еще не жаль, еще нет желания углубляться в запутанные судьбы других людей. Тогда Ие было жалко только большую грушу, потому что если сажать молодые яблони, эту грушу непременно надо спилить, чтобы она не заслоняла солнце,

а стало быть, ей никогда больше не придется на нее залезать, не сможет она больше срывать и бросать сестренкам маленькие и вкусные грушки прямо в постель, никогда не сможет светло и весело смеяться, глядя, как неохотно сестренки просыпаются, словно не хотят увидеть это чудесное утро, полное неутолимой жажды.

Так и получилось, что начиная со следующего лета сестры Пурвите в этом доме уже не жили, новые хозяева дачникам комнаты не сдавали, вдвоем жили в большом доме, и Ия, как-то вечером идя по Береговой улице, видела, как они сидят на медвежьей шкуре под большой грушей и неторопливо пьют чай, как исходит паром их самовар, как жена подает мужу серебряными щипчиками кусочек сахара, тот отправляет его за щеку и, поддерживая блюдечко тремя пальцами, потихоньку прихлебывает, наслаждаясь горячим чаем и домашним уютом. И Ие тогда показалось, что они так и не уходили никуда с этого места.

Второй раз Эйжения Пурвите встретила Медвежатника лет через десять, когда она уже была не тринадцатилетней Ией, а все уже звали ее Женя.

За полгода до этой встречи умерла ее мать. Чтобы выучить сестренку, Женя работала на двух работах и училась заочно. Катастрофическое безденежье, невозможность обзавестись самым необходимым тяжелым катком придавливали ее к земле, из-под этого нечеловеческого груза она могла на краткий миг вырваться только по субботам. Пока сестры были в школе, Женя шла ухаживать за могилой матери, чтобы хоть немного прийти в себя среди кладбищенской тишины и покоя. С нескрываемой завистью смотрела она на красивые и величественные памятники, понимая, что никогда ничего подобного не поставит. Чтобы не думать об этом, она все чаще, все настойчивее вызывала в памяти ту прекрасную и беспечальную пору, когда она ранним утром вставала самой первой, ловко и весело взбиралась на большую грушу и обеими руками рвала маленькие, но сладкие плоды. Эта чудесная картина была единственным утешением. Только воображая себя на большой груше, она чувствовала себя более или менее сносно.

Медвежатника она встретила осенью. От трамвайной остановки вдоль всей аллеи до ворот кладбища тянулся цветочный ряд. Осенние розы атели и полыхали, исходя последней своей красотой, но белая гвоздика уже говорила о близкой зиме. На эти цветы у Жени не было денег, она высматривала только те, что подешевле, утешая себя тем, что матери всегда нравились неестественно лиловые астры.

Жили они в коммунальной квартире в центре города, соседи всегда были чем-то недовольны. Но мать никогда не возражала им, единственное, что она делала, шла на рынок, покупала неестественно лиловые астры, ставила на стол в коммунальной кухне, и соседки хотя бы на полчаса закрывали рты.

Именно такие почти невероятно лиловые астры были только в одном ведре.

— Сколько? — спросила Женя у высокого и сутулящегося старика в замызганном плаще.

— Да почитай даром. Купишь больше пяти, получаешь премию! — ответил старик глуховатым и каким-то надтреснутым голосом. Открыв потрепанный портфель без ручки, он достал оттуда маленькую желтую грушу.

— Сладкая? — робко спросила Женя, узнав его. И от того, что она узнала некогда могучего и статного Медвежатника, сердце ее сжалось от бессловесной боли, оно даже заныло, увидев, как безжалостный каток смял и расплющил сильного и независимого человека, даже темные глаза его потухли, сделавшись водянистыми и невыразительными.

— Сладкая! И вкусная! — Помятый и расплющенный старик ловко кинул грушу в рот, только по этому движению угадывалась давняя ловкость и веселая лихость, но зубов у него уже не было, поэтому он только чамкал грушу, как сливу.

Восхищение изумительной сладостью груши выглядело так жалко, что и Женя почувствовала себя смятой, поэтому пошла назад к трамваю, и уже никогда не ездила на кладбище, могила матери заросла дикой травой, но Женя было страшно хотя бы еще раз увидеть то, что осталось от бывшего героического Медвежатника. Она всегда вспоминала возвращение Медвежатника в отчий дом как самое удивительное и захватывающее событие, каждый вечер перед النوم рисовала себе образ Медвежатника еще более героическим, еще более бесстрашным, вполне возможно, что и замуж она не вышла потому только, что не встретила ни одного парня, который хоть немного был похож на Медвежатника в то утро, когда он вылез из своей черной «Волги». Она еще долго избегала глядеть на высоких и сутулых стариков в замызганных плащах, ей было страшно увидеть в одном из этих обломков жалкое подобие мужского идеала.

В третий раз Эйженя Пурвите встретила Медвежатника, когда все ее звали только Эйженией. У нее было много свободного времени, она не знала, чем ей заняться, потому что младшие сестры удачно вышли замуж. Средняя стала женой автомеханика, недавно они купили дом, ходила она вся в золотых серьгах и кольцах, и хотя от ее мужа даже ночью пахло железом и смазкой, хотя он никогда не мог дочиста отмыть руки, уже с утра от него пахло водкой, а к вечеру уже и лыка не вязал, денег у них всегда хватало, поэтому ей ничего не оставалось, как вечно хвастать своим мужем. Младшая вышла за прославленного массажиста, ее серьги и кольца были не хуже драгоценностей жены автомеханика. К мужу ее валом валили интересные и прославленные женщины, но младшую сестру это не волновало, она строила планы, как выжить из квартиры старшую сестру Эйжению, жуткую старую деву, которая с явным неодобрением смотрела на всех клиентов младшей сестры.

Если когда-то Эйжения чувствовала себя неуютно на кухне коммунальной квартиры, то теперь обе комнаты стали нескончаемой коммунальной кухней. Как и ее мать, она попыталась откупиться неестественно лиловыми астрами, но эти цветы блекли среди роз и гвоздик, они выглядели нищенскими, потому что желающие подвергаться массажу женщины несли мужу младшей сестры цветы охапками, новый обитатель квартиры массировал так бурно, что даже после полуночи, когда все спали, Эйжения не могла уснуть в вянущем воздухе чувственных цветов. Наверное поэтому Эйжения каждый день бесцельно бродила по городу, по самым дальним его окраинам, выискивая более или менее спокойные дома.

Так блуждая, однажды она забрела на Береговую улицу и суровой бесснежной зимой увидела большую заиндевелую грушу и двухэтажный дом на берегу замерзшей реки.

Краска на доме облупилась, выглядел он так, будто через несколько лет рухнет. На дворе валялись обрезки досок, недостроенная лодка, всякий мусор, даже у черной «Волги», как бы в тон общему запустению, поржавели крылья, ветровое стекло потрескалось, подернувшись паутиной, одна шина спущена.

Из одичалого дома вышел Медвежатник. В тонкой рубашке, с развевающимися седыми волосами, он все же чем-то напоминал бывшего человека, которого Эйжения впервые увидела в тринадцать лет. Медвежатник ногой ломал вмерзшие в землю доски, но потом вдруг увидел стоящую у ворот женщину, которая глядела на него широко раскрытыми глазами.

— Что надо? — прищурясь, спросил Медвежатник.

— Не могу ли я снять комнату на лето, — робко сказала Эйжения и посмотрела на большую грушу, жалобно скрипящую на ветру.

— Можно на лето, можно и на зиму. — Медвежатник подошел к воротам и внимательно оглядел женщину. Глаза у него все еще были темные, лицо на морозе казалось вытесанным из красного камня. — Вы одна, с мужем или любовником? Ну, хотя бы с ребенком?

— Я одинокая, — сказала Эйжения, прислушиваясь, как от станции отходит электричка на Ригу, вот она резко набирает скорость и исчезает в лесу.

Медвежатник ничего не сказал, ни о чем больше не спросил, набрал охапку наломанных досок и, входя в дом, оставил дверь открытой.

Эйжения закрыла дверь. Внутри дома штукатурка тоже отстала, коридоры были завалены ломаными стульями и столами, неопределенной рухлядью, более или менее прилично выглядела комната на втором этаже, где Эйжения уже когда-то жила.

Медвежатник бросил доски к печи и, стараясь не смотреть на нее, сказал:

— Я тоже одинокий, но комнат у меня много. Из этой только груши надо выбросить.

Действительно, в углу комнаты лежала груда груш. Тех самых маленьких желтых груш. Эйжени даже показалось, что все это она накидала с дерева в открытое окно на втором этаже.

— Какие красивые груши. Сладкие, наверное? — спросила Эйжени, голос ее в пустой комнате доносился как бы издалека.

— Сгнили, а потом замерзли. Затопим печку, начнут вонять. Все время собираюсь посадить яблони, да никак не получается. Этой весной займусь.

Медвежатник открыл окно и лопатой принялся выбрасывать груши во двор. Груши затарахтели по крыше «Волги».

— Когда груш много, надо компот варить. Больше с ними ничего не поделаешь. — Эйжени стала бросать в печку доски: в комнате стоял такой же холод, как на улице.

— Когда была жена, варили. Уйма банок. Да где это все съесть. — Медвежатник выбросил все груши, за ними полетела лопата, загрохотав по крыше «Волги». Медвежатник не обратил на это никакого внимания, а просто закрыл окно.

— А куда ваша жена делась? Умерла? — спросила Эйжени и вдруг увидела, что Медвежатника в комнате уже нет.

Спустя какое-то время Медвежатник вернулся с тремя запыленными медвежьими шкурами и бросил их на пол. Вопрос он все-таки услышал.

— Маруся еще жива. Вчера прислала письмо, что подала на развод. Давно уже уехала обратно в Сибирь, не прижилась здесь. А я вот отцовский дом не мог бросить, хотя с радостью стал бы опять охотиться. Я ей подарил свое ружье, а она на память самовар оставила.

Эйжени хотела еще о чем-то спросить, да все никак не могла подобрать слова, почему же этот решительный мужчина так опустился и один живет в полуразрушенном доме. И облегченно вздохнула, увидев, что Медвежатника вновь в комнате нет.

Так же неожиданно, как исчез, Медвежатник возник с кипящим самоваром. Самовар и все чайные принадлежности поставил прямо на медвежью шкуру. Сам налил себе чаю в блюдечко, прилег на шкуру и стал смотреть, как в печке горят доски.

За окном на морозе и на ветру скрипела большая груша, доски в печи не только медленно нагревали комнату, но и бросали трепетный свет, потому что уже сгущалась темная бесснежная ночь. Под треск печи Эйжени и Медвежатник молчали, дав возможность говорить трепещущему свету, наверное обоим было страшно своим голосом отпугнуть волшебство огня.

Медвежатник, наверное, думал о своих давних кострах в тайге, а Эйжени о большой груше за окном, так было хорошо сидеть в уже теплой комнате и глядеть на эту грушу, которую она так часто видела в своих мечтах.

Эйжени взяла серебряными щипчиками маленький белый кушочек сахара и подала его Медвежатнику. Видимо, хотела этим сказать, что на дворе очень холодно и что она охотно осталась бы здесь на ночь.

Медвежатник взял этот кусочек кончиками пальцев, бросил его за щеку, в темных глазах его отражались горящие доски. Наверное, он хотел сказать, что он очень стар и ужасно одинок, что мягкие и заботливые женские руки смогли бы сделать его старость вполне сносной.

Эйжения тоже налила себе чаю в блюдечко и, поддерживая блюдечко тремя пальцами, стала пить горячий напиток мелкими, осторожными глотками. Наверное, она хотела сказать, что при таком освещении хорошо слушать захватывающие рассказы об охоте на медведей.

Медвежатник взял серебряными щипчиками маленький белый кусочек сахара и дрожащей рукой подал его Эйжении. Наверное, просил, чтобы женщина хотя бы сегодня вечером не уходила, а если уйдет, он от одиночества совсем свихнется, он всю зиму не будет топить печку, замерзнет, заоченеет, и его выбросят, как он выбросил маленькие погнившие груши.

Эйжения взяла кусочек сахара губами, он был твердый и сладкий, она пила чай глоточками и чувствовала, что не только рот, а вся она становится теплой и сладкой, она, наверное, хотела сказать, что наконец-то она вернулась в то место, где уже когда-то была счастлива, что нашла кров, где ей не будет досаждать младшая сестра со своим массажистом, ей уже давно хочется о ком-нибудь заботиться, долгие годы она заботилась о младших сестрах, а теперь заботиться уже не о ком.

Блики от пламени на стенах, на окне и на большой груше говорили своим языком, невысказанное стариком и молодой женщиной эти отсветы делали еще красивее и возвышеннее.

Медвежатник, глядя на эти отсветы, думал о цветущем яблоневоом саде, а Эйжения думала, что у нее есть все возможности стать настоящей хозяйкой двухэтажного дома, и хотя этот старик выглядит крепким, долго он не протянет, и если они поженятся, большой дом с большой грушей останется ей, сестры будут бегать, посмеиваясь над нею, и она сможет покупать дорогие серьги, толстые кольца и браслеты, груша будет цвести только для нее, осенью она заполнит банками с компотом весь погреб, холодными зимними вечерами она, переливаясь от золота, будет есть этот компот одна, но если даже золота у нее не будет, то хотя бы не придется до полуночи бродить в одиночестве по улице.

В последний раз Эйжения Пурвите увидела Медвежатника за день до их свадьбы. Это было весной, когда все цвело, распускалось и пело.

Эйжения Пурвите сидела в коляске мотоцикла, а Медвежатник, гордо выпрямясь, держал руки на руле. На голове у них были шлемы, поэтому они немного напоминали космонавтов. Эйжения уговорила Медвежатника продать старую черную «Волгу», муж средней сестры сделал из развалины вполне приличную машину, продав ее, они получили чемоданчик, полный десяток. Чемоданчик уже немного опустел, потому что в ушах Эйжении были

золотые серьги, на пальцах кольца, на запястьях дорогие браслеты, обе сестры ей завидовали, потому что у нее был двухэтажный дом и муж, которому, по их расчетам, жить оставалась недолго. Остальные десятки в чемоданчике были рассчитаны на ремонт дома. Медвежатник задумал еще вымостить берег брусчаткой. После свадьбы было решено приступить к этим неотложным делам.

Эйжения Пурвите сидела в коляске мотоцикла, она вовсе не хотела, чтобы Медвежатник как можно скорее умер, и потому она ежедневно возила его к мужу младшей сестры на массаж, чтобы он выглядел свежее и чувствовал себя бодрее. Но как ни старался муж младшей сестры, сделать Медвежатника моложе он не мог. Так как Эйжения все не могла забыть его точно таким, каким увидела впервые — решительным и победительным, — она старалась втянуть его в дело защиты природы, чем занимались многие пенсионеры, находя себе не только занятие, но и смысл своему стариковскому существованию. Эйжения работала инженером на большом заводе, где она следила за фильтрами, которые не давали улетучиваться вредным веществам. Вредные и ядовитые вещества шесть дней скапливались в бункерах, но так как потом их некуда было деть, поскольку технологически это еще не было продумано, то в пятницу она отдавала распоряжение, чтобы в субботу содержимое бункеров через трубу уходило в небо. Каждую субботу она видела в окно на своем втором этаже, как из трубы ее завода выползает разноцветное облако и направляется прямо к ее большой груше. Благодаря взволнованным убеждениям Эйжении Медвежатник стал активным и самоотверженным защитником природы. На своем мотоцикле он носился по берегу реки, ловя браконьеров и базарных старух, которые обламывают для продажи вербу и прочие деревья. Вот и в тот день, когда Эйжения Пурвите видела Медвежатника в последний раз, они мчались на мотоцикле, отыскивая вредителей природы. Вблизи дома Медвежатника никто уже не осмеливался совершать никаких прегрешений, поэтому они выезжали из города, чтобы наводить порядок в другом месте.

Эйжения Пурвите сидела в коляске мотоцикла, радуясь тому, что Медвежатник опять такой смелый и целенаправленный, опять он мужчина, жаждущий походов, жаждущий побед.

Видя, что они едут мимо цветущего яблоневого сада, огромного яблоневого сада, который тянулся по склону одного холма до другого, Эйжения воскликнула в несущийся навстречу ветер:

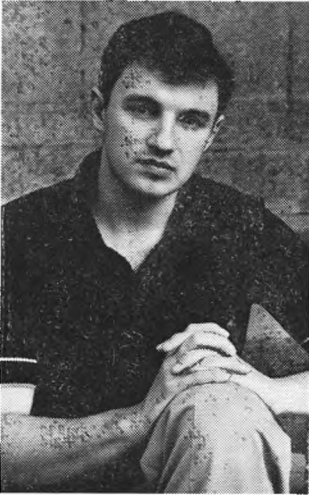
— Какой красивый сад! Ни конца, ни края!

— И мы такой же посадим возле нашего дома! — крикнул Медвежатник в несущийся навстречу ветер, и от восторга, что он видит такой огромный яблоневый сад, отнял руки от руля. Через десятую долю секунды руль вывернуло, мотоцикл понесло через канаву — и оба взлетели на воздух.

Когда Эйжения летела по воздуху, у нее было такое чувство, как будто она летит над большой грушей, она хотела ухватиться за ветвь этого дерева, но как ни старалась, это не выходило.

Подбежав к лежащей Эйжении, Медвежатник увидел, что у его будущей жены точно такое же лицо, как ранней весной после суровой зимы, когда стало ясно, что большая груша замерзла, ветви ее были без почек и только жалобно скрипели, хотя все вокруг цвело, распускалось и пело. Когда большую грушу спилили, она, жалобно застонав, обрушилась в реку и погрузилась в тину, все соседи полдня старались вытащить ее из реки. Когда это удалось сделать, Медвежатник увидел лицо Эйжении Пурвите. В нем уже не было ни капельки жизни. И тогда он влюбился в нее, как мальчишка, по собственному опыту зная, что только любовь может оживить женщину, высвободить ее из небытия, в которое она погрузилась.

Большой двухэтажный дом на Береговой улице так и остался отремонтированным лишь наполовину; большая груша так и не дала ни одного побега, к общей картине запустения на дворе прибавился потерпевший аварию мотоцикл с коляской и старый, сгорбленный человек в замурзанном плаще, в котором он ходит даже в летний зной, когда проветривает на солнце изъеденные молью медвежьи шкуры. На все оставшиеся в чемоданчике деньги он заказал памятник из черного мрамора, на котором можно разглядеть поникшую грушу с большими и красивыми плодами и надпись: «Здесь вечным сном покоится моя последняя жена Эйжения Пурвите».



Сергей МОРЕЙНО родился в 1964 г. в Москве. В 1987 г. окончил Московский физико-технический институт, начал работать в Вычислительном центре АН СССР. С весны 1988 г. живет в Риге, работает в Латвийском государственном университете им. П. Стучки. Стихи С. Морейно публиковались в журнале «Родник» [№ 7, 1988 г.]; в октябрьском номере того же журнала опубликованы его переводы стихов молодого латышского поэта Эйнар Пелша.

ВЕТВИ

* * *

Что ни день, то дождик в Риге —
Господь чашу не пронес.
Набухают крыш ковриги,
Как незаданный вопрос.

Беспокойный горожанин,
Хитрый баловень Петра,
Истопник холодной бани
Вышел по воду с утра.

А потом сияют крыши,
И, устав к исходу дня,
Старый Екаб мерно дышит,
Слово Лютера храня.

Засыпают побратимы —
Пивовар и стеклодув.
Спит оплот святого Рима,
Шпилем облако проткнув.

А вверху по нашим верам
В сапогах из диких трав
Ходит месяц, злой и серый,
Руки за спину убрав.

ЛИГО

Когда голубая вода
В пруду, на косе, у излуки
Отпустит его навсегда,
Отмыв до прозрачности руки,—

* * *

Ах, пройти по бульвару
нырнуть в знакомый подъезд
который укроет меня, как устрицу
створки
заклеит, залижет
рваные раны
что оставляет метро — суставчатый
зверь

обрызнет мертвой водой
живою водой
а за ночь старушка-Москва
разграбит холодными граблями
парки, газоны
и все прорастет, что надо

годы в крови
наши и больше ничьи
видишь, дождь нависает над городом
готовый к погрому

* * *

Хорошо сходитья по двое, по трое,
Из избы натопленной вынести сор.
Это кто там ходит по траве, по двору —
Может, кот ученый, а может, вор?

Мы вора вызовем в комнату теплую,
Обоьем веничком, отольем чайку.
Ведь и мы жулики — любим чай с
воблюю,
Чтим отца матерью, бережем башку.

* * *

За этот белый райский сад,
за эти слезы у отдушин
я расплатился бы стократ,
я прозакладывал бы душу,
чтобы не корчиться в крови
под топором или дубиной,
и не выпрашивать любви
у пережавших пуповину,
где время провело черту —
вторую палочку к кресту.

МОСКОВСКИЙ ФОРШТАДТ

Сцепленье гласных и шипящих,
Сцепленье губ, и в полусне
Глаз настороженная чаща
В забитом наглухо окне.

Куда, пасхальная столица,
Моя базарная Москва,
Тебе такое не приснится,
Ты до сих пор еще девица,
Хотя с Петра уже вдова.

Тебе вот так и не согнуться
В слепой колодезной трубе,
Тупым комочком не швырнуться,
Не дотянуться — где тебе!

Держи, храни меня высоко,
На полотне прозрачных век,
Зеница голубого ока,
Не дай упасть на белый снег,

Пока не ослабели руки
Московской круговой поруки.

ДЕНЬ ПОМИНОВЕНИЯ УМЕРШИХ

московское барство трамваев
по рельсам, по белому снегу

глазок в двери, сапоги
скинуть, снять, отдышаться

вернуться назад, пойти
на цвет, на вкус и на запах

в руке холщовый подсвечник
с берестяным огнем

так что помянем мертвых
их кровь смешается с нашей

славянские дикие корни
с нежностью польских гласных

трава пойдет шепелявить
обнимет пуховой лапой

вон кто-то идет с косой
попробуй скажи ему: «Хватит!»

ВЕТВИ

Здесь всюду были бои.
Я садом в клешни зажат.
В нем кости лежат мои
Две жизни тому назад.

Я помню, как белый снег
Здесь черные сотни жгли.
А это двадцатый век —
Они и по мне прошли.

Я ими затоптан был
В Семеновский пыльный вал.
Я в собственном теле плыл
И собственный голос звал.

Я вовсе не рвусь туда,
Но шесть степеней свобод
Наверное бы отдал
За срубленный пятый год.

Здесь всюду были бои.
Я полон внезапных встреч.
И роцци шумят мои,
Готовые в землю лечь.



Василий Масютин.
Победители

ЭТОТ МРАЧНЫЙ ПЯТЬДЕСЯТ ДЕВЯТЫЙ...

В республике продолжается переоценка результатов июльского пленума ЦК КП Латвии 1959 года. На этом пленуме по необъективным, а порой и сфабрикованным материалам многие руководящие партийные и советские работники республики были несправедливо обвинены в буржуазном национализме, получили партийные взыскания, были отстранены от работы.

Журнал «Карогс» предоставил «Даугаве» возможность познакомить русскоязычных читателей с публикующимися в нем материалами — беседой журналиста Яниса Лапсы с **Вилисом КРУМИНЬШЕМ**, который занимал в то время пост второго секретаря ЦК КП Латвии, и **Индрикисом ПИНКСИСОМ**, бывшим председателем Латвийского республиканского совета профсоюзов, кандидатом в члены бюро ЦК КП Латвии.

КРАТКАЯ СПРАВКА:

ВИЛИС КРУМИНЬШ родился в 1919 году в семье сельскохозяйственного рабочего в волости Селияс. В 1935 году начал учиться в Екабпилсской средней школе, которую окончил в 1940 году. В тридцатых годах В. Круминьш включился в подпольную работу в своей родной волости. В 1941 году стал комсоргом Екабпилсской средней школы. С началом Великой Отечественной войны В. Круминьш — командир комсомольской добровольческой роты, с которой прошел путь отступления.

В августе 1941 года он добровольно вступил в 201-ю латышскую стрелковую дивизию, которая в боях стала знаменитой 43-й латышской гвардейской стрелковой дивизией. Войну окончил заместителем начальника политотдела по комсомольской работе 130-го латышского стрелкового корпуса. Был неоднократно ранен.

В 1945 году прямо из армии перешел на работу в ЦК ЛКСМ Латвии — сначала секретарем, потом первым секретарем. С 1951 года — третий секретарь ЦК КП Латвии, позже — первый секретарь Рижского областного комитета партии, после этого — второй секретарь ЦК КП Латвии. С 1956 года неполных три года работал заместителем председателя Совета Министров Латвии, после чего вернулся на партийную работу в аппарат ЦК КП Латвии — вторым секретарем ЦК.

После июльского пленума 1959 года Вилиса Круминьша перевели на работу в Министерство просвещения ЛССР, а несколько позже он стал директором Музея природы ЛССР.

В. Круминьш — член КПСС с 1942 года.

Образование высшее, по специальности экономист-плановик.

Награжден семью орденами, в том числе орденом Ленина и многими медалями.



Я. Лапса. От этих дней у меня осталось впечатление сгустившейся мрачной атмосферы; я чувствовал себя словно выброшенным за борт...

Я говорю о том дне 1959 года, когда партактив района, где я работал редактором газеты, был ознакомлен с резолютатами пленума.

Помню, как в перерыве собрания рыдала Лидия Цине, заведующая библиотекой райкома, — уважаемый человек, обладавший большим партийным и рабочим стажем. На мой вопрос она сказала: «Что ты понимаешь... Для нас это новый тридцать седьмой год».

Вы были в самом центре событий. Как вы можете охарактеризовать тот пленум?

В. Круминьш. Это был трагический поворотный пункт в истории Коммунистической партии Латвии. Он подорвал веру в ленинские идеалы, и печальные последствия пленума, основывавшегося на сфабрикованных обвинениях, в области экономики, политики, культуры особенно остро сказались за последние десять лет.

Я. Лапса. Но, может быть, не было дыма без огня...

В. Круминьш. Да, были проявления и буржуазного национализма, и великорусского шовинизма, но в целом политическая и экономическая ситуация в республике была достаточно стабильна, с тенденцией к росту. Именно этот пленум подорвал органическую структуру дальнейшего развития — руками тех карьеристов и подхалимов, которые использовали политическую ситуацию для сведения личных счетов...

Я. Лапса. Об этих событиях мы почти ничего не знаем. Но поскольку эти события живы в памяти людей, живых участников событий, обратимся к предшествующей истории.

В. Круминьш. После июньского Пленума 1953 года наш первый секретарь ЦК Янис Калнберзин вернулся в республику с категорическим указанием Берия перевести все делопроизводство в учреждениях и организациях на латышский язык, а работников, не владеющих латышским языком, в течение 2—4 недель отправить в распоряжение ЦК КПСС.

В Латвии только что были ликвидированы области, и я, не успев сдать дела первого секретаря обкома, стал вторым секретарем ЦК КП Латвии. «Старшие товарищи» (Я. Калнберзин, А. Пельше) ре-

шили, что пришло время перевести дыхание, и первый из них отправился в очередной отпуск, а второй, как говорят в народе, взял синий листок.

Первыми из республики должны были выехать 107 работников политотделов МТС, которых те самые «старшие товарищи» два года назад пригласили на работу в Латвию. Вместе с молодым членом бюро ЦК КП Латвии Александром Никоновым мы, вызвав в Ригу работников политотделов МТС, в течение одной ночи убедились, что большая часть из них овладевает латышским языком, люди врастают в коллективы. В нас вызвала внутреннее сопротивление та грубая кампания, которая была развернута против них. Она приводила к таким курьезам, что заместитель министра внутренних дел республики Сикс, который сам говорил по-латышски через пень-колоду, самолично разбил... пишущую машинку с русской клавиатурой.

В то время продолжалась подготовка к пленуму. Сообщение готовил А. Пельше. Вместе со старым большевиком Я. Авотинем они пришли к заключению, что самой сильной личностью после смерти Сталина стал Берия и поэтому его распоряжения надо исполнять без промедления.

Я. Лапса. Говорят, что латышам свойственно стремление к излишнему усердию.

В. Круминьш. Скорее, тут можно говорить о страхе и подхалимстве. Но у меня и у многих других товарищей эта непонятная, фактически провокационная кампания рождала серьезные опасения. Среди товарищей были Вилис Лацис, Александр Никонов, Карлис Пуго.

Одной из самых больших неожиданностей на пленуме была речь председателя комиссии партийного контроля Р. Кисиса. Она была чисто демагогическая, националистическая в худшем значении этого слова. Это, впрочем, не помешало ему на пленуме 1959 года, как говорится, «вывернуть шубу наизнанку» и разоблачать буржуазных националистов в партии, среди работников культуры и науки. Говоря о всемирно знаменитом академике Эндзелине, он употребил выражение «буржуазно-националистический эндзелизм». В действиях Р. Кисиса нашел выражение не столько национальный нигилизм, сколько то, что он был сторонником Сталина и одновременно

жертвой его культа: он жил в постоянном страхе за свою карьеру и говорил лишь то, что было выгодно в данный момент.

Я. Лапса. Итак, на Пленуме 1953 года инициатором «бума национальных кадров» был Лаврентий Берия. Но и по сей день остается непонятным, почему этот сталинский сатрап избрал столь своеобразный путь к власти.

В. Круминьш. Стремление предстать «другом» национальных республик могло быть одним из тщательно продуманных иезуитских приемов на пути к его грязным политическим целям, хотя было хорошо известно, что именно Берия был организатором депортации 1941 и 1949 годов.

Между прочим, в эти дни Берия тайно явился в Ригу, но с партийными и государственными руководителями республики он не встречался.

На пленуме 1959 года некоторые наши ловкие работники забыли о своих действиях в 1953 году и стали энергичными «разоблачителями буржуазного национализма».

Я. Лапса. Мне кажется, что после событий 1953 года наступила определенная оттепель. У вас, который находился в самом центре событий, возможно, есть свой взгляд на все происходившее.

В. Круминьш. Это был сравнительно мирный период, если не считать, что это время республика в поте лица старалась поднять из руин свое разоренное войной хозяйство. Хочу остановиться на событиях 1956 года, когда прошел незабываемый XX съезд партии.

Большая часть наших кадров чувствовала удовлетворение, но многие (Пельше, Авотиньш, редакторы журнала «Коммунист Советской Латвии» тт. Бумберс и Толмаджев, в известной мере Юрген, Островс) вели себя сдержанно.

Я ждал, что после моего выступления на открытом партийном собрании в ЛГУ, где я рассказывал об итогах XX съезда, хоть кто-нибудь вспомнит выдающегося теоретика марксизма В. Кнорина, о зверской расправе с которым говорил Н. Хрущев и лекции которого слушали и Пельше, и Юрген. Никто не сказал ни слова.

Знаменательно, что Юрген, став после поста третьего секретаря ЦК КПЛ ректором университета, принялся за активную «чистку кадров» в этом знаменитом учебном заведении. По согласованию с А. Пельше он выгнал из

университета выдающегося лингвиста Я. Эндзелина. Мне рассказывал обо всех этих закулисных интригах академик Я. Зутис, который был настолько потрясен этим, что просил вернуть его обратно в Московский университет, откуда его командировали на работу в родную Латвию.

Я. Лапса. То есть столкновения начались сразу после XX съезда партии, но только на пленуме 1959 года они достигли кульминации.

В. Круминьш. Да. И об этом свидетельствуют дальнейшие события. В прессе и аудиториях разгорелись споры между Зутисом и Дзерве, с одной стороны, и Бумберсом и его сторонниками — с другой. Разногласия касались вопросов истории и экономического развития республики. Паул Дзерве выдвигал ясную, научно обоснованную программу экономического развития Латвии, в основе которой лежало интенсивное использование местных ресурсов и рабочей силы на местах, он выступал против самоуправления в республике всесоюзных ведомств. Из-за этой принципиальной позиции бесчестные политики навесили ему ярлык буржуазного националиста.

Самой разной была реакция руководящих работников в связи с решением Пленума ЦК КПСС об антипартийной группе Молотова и других. Многие местные руководящие кадры, особенно Пельше, не стесняясь говорили, что не верят в антипартийные установки Молотова, хотя в то время была известна его роль в злодеяниях культа личности Сталина. Конфликт дошел до того, что опытный партийный работник, член КПСС с 1920 года М. Дзервите-Биркенfelде предложил исключить А. Пельше как «молотовца» из состава ЦК. Я. Калнберзин не возражал против этого предложения, но ничего не сделал.

Конечно, и «молодые» были не без вины, но основная тяжесть работы легла на наших плечах, а те, кто наблюдал со стороны, фиксировали каждую нашу ошибку. Интересной, даже трагической фигурой был Э. Берклав. Пройдя подполье ульманисовской Латвии и огонь Великой Отечественной, он с полной отдачей взялся за работу. Он был энергичен и неутомим, но ему была свойственна некоторая склонность к администрированию. В трудные минуты его положительные качества были преданы забвению, а отрицатель-

ные — подняты на недостижимую высоту.

Я. Лапса. Если не ошибаюсь, в Совете Министров вы работали неполных три года, затем опять были переведены в ЦК КПЛ на должность второго секретаря. Чем были вызваны перестановки?

В. Круминьш. Это было указание Н. Хрущева: не ждать представителя из Москвы. Все члены бюро, в том числе и А. Пельше, сказали о моей работе в Совете Министров немало лестных слов. В. Лацис был единственный, который просил оставить меня в Совете Министров.

На следующий день в ЦК КПСС я был принят товарищем Кириченко, который сказал, что мое перемещение согласовано с Хрущевым и что работа мне предстоит длительная. Косвенным образом он намекнул на возраст и слабое здоровье Я. Калнберзина...

Когда наш разговор коснулся так называемого бериевского Пленума 1953 года, секретарь ЦК сказал, что в республике должен быть созван пленум, чтобы исправить некоторые ошибки, допущенные в те годы в кадровой политике.

Он состоялся в октябре 1958 года, основной доклад было поручено сделать мне. Пленум прошел в деловой обстановке — ошибки были исправлены.

Но посмотрим на последовательность событий. Стартовым выстрелом для начала всей этой кампании послужила жалоба в ЦК КПСС тогдашнего министра легкой промышленности ЛССР Н. Пономарева: подбор кадров в республике осуществляется не по деловым, политическим и личным качествам, а исходя из национальной принадлежности. Это была грубая ложь, но жалоба остается жалобой, и я попросил прислать работника ЦК КПСС для ее проверки. Мне ответили, что мы должны разобрать ее на месте. Выяснилось, что она безосновательна.

Я. Лапса. Что же он был за человек? И к тому же — в кресле министра.

В. Круминьш. Пономарев был «очень доверенное» лицо. Его выводила из себя мысль, что он перемещен в Министерство легкой промышленности из Совета Министров, где был заместителем председателя.

Как человек он характеризовался не лучшим образом. За день до его жалобы в ЦК КПСС мы получили сооб-

щение компетентных органов о том, что, находясь в Карловых Варах, он занимался обогащением. На бюро ЦК он не мог привести никаких аргументов — ни в оправдание своего поведения, ни в защиту своей жалобы в ЦК. Потрясенный двуличием и нечестностью своего бывшего заместителя, В. Лацис, преодолев внутреннее отвращение, рассказал случай, относящийся к 23 июня 1941 года (Пономарев, командированный в Латвию из Москвы, был тогда заместителем Председателя Совета Народных Комиссаров). В этот день, никому ничего не сообщив, Пономарев сбежал из Риги в Москву — подальше от фронта. Там его задержали, так как у дезертира не было никаких документов, свидетельствующих, что он находится в Москве в командировке или по другому правительственному заданию. Пономареву угрожал военный трибунал. Его спас Вилис Лацис, который по телефону сообщил в Москву, что Пономарев прибыл по правительственному заданию, но что командировку ему в спешке не успели выписать. Когда бюро обсуждало личное дело этого деятеля, командующий войсками Прибалтийского военного округа генерал армии Батов предложил исключить его из партии. Все же бюро ограничилось лишь строгим выговором.

Я. Лапса. С Пономаревым все ясно, и таких пономаревых у нас всегда хватало. Хотелось бы услышать ваше мнение и по поводу остальных проблем.

В. Круминьш. Одна из них появилась в связи со статьей Э. Берклава «Разговор от души», которая в 1959 году была напечатана сначала в «Ригас Балсс», а потом во многих газетах республики. По-моему, статья была в принципе правильная, но отличалась несколько поучающим тоном. На заседании бюро ЦК товарищ Озолиньш сказал, что вряд ли Берклаву, как заместителю председателя Совета Министров, стоило выступать с такой статьей без ведома ЦК. Берклав, повернувшись к Калнберзину, сказал примерно так: «Товарищ Калнберзин! Статья находилась у вас три дня, и вы мне отдали рукопись со словами, что статья хорошая».

Ян Калнберзин ничего не ответил. На том неофициальное обсуждение статьи Берклава кончилось. Странным образом на июльском пленуме 1959 года Калнберзин сам вытаскил эту

статью на свет и упрекнул члена бюро Александра Никонова в том, что он воздержался от принципиальной критики этой статьи. В то же самое время речь Берклава на этом пленуме была гораздо более самокритичной и честной, чем речи выступавших Р. Кисиса, Я. Калнберзина и А. Пельше.

Я. Лапса. Чтобы выдвигать столь серьезные обвинения против десятков партийных и государственных работников, необходима была проверка вышестоящих органов.

В. Круминьш. Проверка была. Но, по правде говоря, она напоминала скорее имитацию проверки.

В июне 1959 года в республику явилась бригада работников ЦК КПСС. К моему (и не только к моему) удивлению, прибыли люди, которые либо вообще не были в Латвии, либо знали ее только по радиоаппаратам ВЭФа и юрмальским пляжам.

Комиссия ознакомилась с положением в кадровой политике, и один из ее членов сказал мне, что ничего предосудительного они не обнаружили. Единственное замечание было в связи со статьей Э. Берклава.

Но бригада так и уехала, не познакомив с выводами членов бюро ЦК, не считая Я. Калнберзина. Думаю, что неофициально был ознакомлен с ними и А. Пельше.

Примерно через неделю в Ригу прибыл Первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев. Когда завершилась официальная программа, руководитель партии и правительства пригласил в свою резиденцию почти всех членов бюро ЦК КПЛ. На вечер провозглашались тосты, и мой звучал так: «За вашу смелость на двадцатом съезде, Никита Сергеевич!» Потом, когда мы с ним почти час говорили в парке на скамеечке, он сказал: «Да, на двадцатом съезде в самом деле было сложное положение. А ты думаешь, что сейчас у Никиты Сергеевича легкая жизнь?..»

Общая наша беседа длилась часа четыре. «Ну что, товарищи, — сказал он, — будем говорить откровенно, как и полагается политикам. Может, мы и поспешили с организацией колхозов в Латвии. Почему сегодня республика производит меньше масла, чем в те времена, которые у вас называются ульманисовскими?»

Под конец встречи я заговорил о кадровом вопросе. Сказал, что стремление выдвинуть на работу молодых

специалистов часто истолковывается как проявление национализма.

Никита Хрущев внимательно выслушал меня и сказал, что это серьезный вопрос и специалистов надо смелее выдвигать на руководящие посты. Тут же на месте Н. Хрущев дал указание своему помощнику Шевченко официально вызвать меня на Пленум ЦК КПСС, который должен был состояться через месяц. Там я должен был выступить по этому вопросу.

В этой встрече активно участвовали все члены бюро ЦК, кроме... Пельше и Калнберзина. Как позднее стало ясно, они были единственными, кто уже знал о материалах проверки так называемой комиссии ЦК КПСС, и тайне вынашивали дальнейшие планы. Хрущев, насколько я понимаю, еще не был осведомлен о них. И если бы в тот раз А. Пельше и Я. Калнберзин вели бы себя честно и откровенно, созывать пленум в 1959 году не было бы никакой необходимости.

Ночью, после нашей официальной встречи, при посредничестве уже упоминавшегося Пономарева и какого-то генерала Хрущеву тайком были подсунуты сфабрикованные материалы о буржуазном национализме, которым якобы поражены руководящие учреждения партии и республики.

Пономареву Хрущев мог бы и не поверить, но генерала он хорошо знал еще со времен Сталинграда.

Я. Лапса. Ходят самые различные слухи о странном поведении Хрущева на аэродроме при отлете из Риги...

В. Круминьш. Поведение было не столько странным, сколько оно потрясло нас. Хрущев совершенно изменил свое отношение, он был предельно возмущен, грубо упрекал руководство республики в национализме, особенно нетерпимо он относился к Э. Берклаву.

Единственным, кто сохранил хладнокровие, был командующий Прибалтийским военным округом генерал армии Батов. Он строго и недвусмысленно остановил Хрущева примерно такими словами: «Все это ложь, Никита Сергеевич, бесстыдная ложь. Я знаю, что говорю, потому что не первый год вхожу в состав бюро ЦК Компартии Латвии».

Слова генерала Батова произвели на Хрущева заметное впечатление, он несколько успокоился, попрощался и поднялся в самолет.

Скоро в Москве состоялось расширенное заседание Президиума ЦК КПСС. Хрущев был еще несколько возбужден, и в этом плане на него влиял член Президиума Мухитдинов. Члены Президиума выглядели подавленными.

Первым говорил Я. Калнберзин, упрекнув «молодые» кадры республики в «колебаниях». В. Лацис заверил присутствующих в верности ленинским идеалам, К. Озолиньш молчал. После этого слово дали мне. Я выложил на стол все, что думал. Рассказал о своем народе, о его культуре и языке, об уважении к нему, о русском языке, который с давних времен был близок латышскому народу. Говорил я с волнением и только по стенограмме могу восстановить, о чем я вел речь в те решающие минуты. Я чувствовал — Хрущев как бы помягчел, успокоился, и когда я кончил, спокойно объявил перерыв в заседании.

Заседание Президиума продолжалось, но оно носило уже совсем другой характер — спокойный и деловой. О каком-либо «буржуазном национализме» уже не было и речи. Внезапно Хрущев опять вспомнил Берклава и сказал, что, хотя в аэропорту и крепко выругал его, но потом все же долго думал об этом работнике. Справедливости ради хочу добавить, что перед грубостью Хрущева Берклав в долгу не остался...

Но вернемся на заседание Президиума. Хрущев бросил такую фразу: «Берклав упряма как бык, но все же открытый и честный человек».

В заключение Первый секретарь ЦК сказал, что по обсуждаемому вопросу Президиум никакого решения принимать не будет. Пусть товарищи из Латвии сами решают, что хорошо и что плохо. С заседания Президиума мы возвращались в приподнятом состоянии духа, и я думал, что руководящие работники даже в «высоких инстанциях» считают своей высшей целью стремление к истине.

В таком настроении я возвращался в Ригу, не учитывая того, что и в Москве и, главным образом, в Риге действуют и другие силы, основной целью которых был карьеризм, угодничество; были и такие, которые руководили страхом, желание удержаться в своем служебном кресле, делать карьеру — пусть даже за счет своих ближайших друзей. Тогда я еще не знал, что очень скоро буду объявлен «подпевалой национа-

листов», а еще через год — «закоренным буржуазным националистом», который только «оплакивает старые рыцарские замки», а еще чуть позже меня окрестят «главарем националистической группы». А после этого целых шестнадцать лет меня будут считать кем-то вроде получеловека с партибилетом в кармане, имя которого нельзя упоминать ни официально, ни даже неофициально.

Я. Лапса. В прошлом году я опубликовал в «Карогсе» «Синюю книгу», где приводил, в частности, отрывок из такой речи: «... Порой непонятны действия товарища Круминьша, неясны его политические взгляды. Как иначе можно оценить его запись в Книге отзывов Рундальского замка, где немало слезливых слов разных мещан, призывающих скорее закончить восстановление замка... И товарищ Круминьш пишет: «Полностью согласен с такой точкой зрения, что надо скорее заканчивать реставрацию».

В тот раз я назвал источник, откуда взял эти строчки, но не назвал их автора.

В. Круминьш. Я его могу назвать: Арвид Пельше. Он сказал эти слова на XVI съезде Компартии Латвии. Но трагедия моя и моей семьи — это лишь несколько капель из того кубка страданий, который довелось испытать и партийной организации республики, и всему народу.

О самом пленуме. Он был не только создан вне очереди, но и проходил втайне, что ненормально по самой сути. В его ходе ясно прослеживалась линия, которой мы сегодня можем дать точное определение: рецидив сталинского мышления. И, честно говоря, от основных действующих лиц трудно было ожидать другого образа мышления. Вместо серьезного обсуждения на пленуме была демагогическая словесная эквилибристика. Пленум, основным пунктом которого был кадровый вопрос, готовился без участия второго секретаря, то есть меня. Но ведь именно второй секретарь отвечает за этот важнейший участок партийной работы.

Бюро ЦК КПЛ, которое состоялось до пленума, основывалось на материалах справки, составленной уже упоминавшейся бригадой ЦК КПСС. Членам бюро оставалось или согласиться с материалами справки, или пойти на конфликт с вышестоящими партийными органами. Выбора не было. Попытка

оспорить материалы этой справки была грубо прервана Мухитдиновым: «За такие дела расстреляли Берию».

В кулуарах Мухитдинов высказал мне такую мысль: Хрущев взвешивает — не пришло ли время занять мне место Калнберзина, потому что последний чувствует себя старым и уставшим. Но в таком случае мне надо на пленуме как следует обрушиться с критикой и на Калнберзина, и на Берклава. Я отказался это сделать.

После доклада Калнберзина и в зале, и в президиуме воцарилась подавленная атмосфера. Диссонансом официальному сообщению прозвучали речи К. Озолина, А. Никонова, И. Пинкхиса, В. Лациса, Э. Берклава и, думаю, что моя. Чего это нам стоило — тайны в этом нет. То есть, по словам Берклава, если уж ломать — то до конца.

В ноябре 1959 года нас вместе с Калнберзином вызвали к Хрущеву. Речь шла о выдвигении А. Пельше на должность первого секретаря ЦК КПЛ. В разговоре был затронут и июльский пленум. Хрущев сказал примерно так: «Ну, видите, как вышло. Вместо делового разговора вы там у себя в республике подняли шум на весь свет. Но, может быть, самые главные виновники кроются не в Риге, а в нашем доме? Из Москвы же на вас давили Пленумом 1953 года, не так ли? Ума не приложу, как вы там выкрутились, не перешли через край...»

Я слушал и молчал. «Ты словно обижаешься», — сказал мне Хрущев.

«Обижаюсь? Только не на вас, Никита Сергеевич», — сказал я.

Это была моя последняя встреча с Хрущевым.

Механизм сталинской инерции был включен, и он вершил свою разрушительную работу. Очень сомневаюсь, была ли у Хрущева достоверная информация на этот счет.

Летели головы. Не в буквальном значении слова, как в тридцатые годы. Но гнали с работы и подвергали моральным унижениям десятки активных партийных и советских работников.

Потрясение испытывали и те русские товарищи, которые предполагали обрести в Латвии постоянную работу и местожительство. Под влиянием демагогических фраз многие из них потеряли интерес к латышскому народу, его истории и культуре. Болезненные последствия этого мы ощущаем и сегодня.

Я. Лапса. В нашем разговоре часто упоминается А. Пельше. Как бы вы могли его оценить?

В. Круминьш. Арвид Пельше был очень сложной личностью. Он много читал, посещал театр, любил выращивать цветы, прекрасно разбирался в фарфоре. Тем не менее гены сталинизма настолько изуродовали его характер, что он был готов в любую минуту вывернуться наизнанку, очернить товарища, польстить сильному; он всегда держался сверхтаинственно. Он жил словно в постоянном страхе и начальства, и своего народа. Политическая биография Арвида Пельше была бы очень поучительна и в ней, возможно, была бы глава, как он вел себя в Москве в 1937—1938 годах, когда ликвидировали латышский клуб...

Я. Лапса. Какие ваши самые светлые воспоминания о положении в Латвии после XX съезда партии?

В. Круминьш. О них я мог бы написать книгу. Это были годы, полные энтузиазма и радости труда.

В те годы были возвращены из небытия имена многих деятелей латышской науки и культуры, о которых в послевоенные годы говорили в приглушенных тонах или не говорили вообще. Среди них были Паул Страдынь, Александрс Биезиньш, Янис Егерманис, Янис Эндзелин, Карлис Скалбе, Янис Акуратерс, Зейболту Екабс, Вилис Плудонис и многие другие.

В это время стала работать рижская телевизионная студия, хотя по всесоюзному графику она должна была вступить в строй на десять лет позже. Рига стала третьим городом в Советском Союзе, где засветились голубые экраны.

Уже в те годы мы заложили основы дела охраны природы и памятников. Правда, после пленума 1959 года наши старания были сочтены буржуазным национализмом и все сделанное сравняли с землей.

Я. Лапса. Кого из товарищей по работе и единомышленников тех лет вы вспоминаете с наибольшим удовольствием?

В. Круминьш. Сложный вопрос, потому что их было много. Очень грустно, что преждевременная смерть настигла экономиста Паула Дзерве. Так или иначе, но и он был жертвой кампании 1959 года. Не выдержало сердце... Сегодня, когда республика оказалась

в незавидной экономической ситуации, как бы пригодился нам его совет!

Не могу не думать и о несправедливости, которая обрушилась на Э. Берклава.

Тепло вспоминаю Вилиса Лациса, Индрикиса Пинкисиса, Волдемара Калпина и, конечно, всегда отважного и принципиального пахаря и академика в одном лице Александра Никонова, который ныне руководит Всесоюзной академией сельскохозяйственных наук. Мы поддерживаем тесные связи. В 1985 году я написал в журнале «Звайгзне» очерк об этом выдающемся ученом и практике. И сразу же получил от него письмо, в котором, между прочим, были строчки, напомнившие мне те времена: «... Написано с сердцем и душой. Это можно видеть и невостуженным глазом. И не обо мне в конце концов идет речь. Очерк проливает завесу молчания вокруг людей

нашего поколения. Мы же ведь не были злодеями... Ты сделал нечто большее, чем просто показал одного человека. Большое, большое спасибо — но и этого мало.

Еще раз сердечная благодарность — и до встречи в Москве.

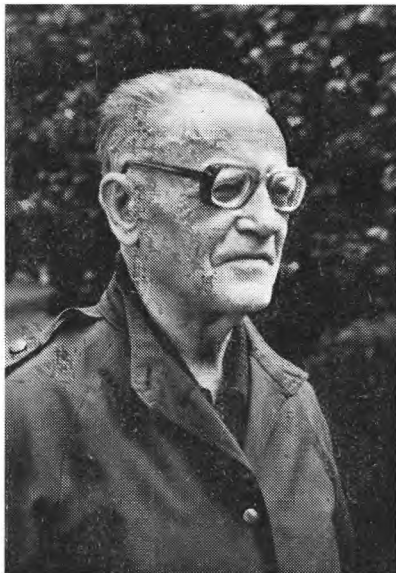
А. Н.».

Может быть, из-за одного такого письма стоило терпеть все эти страдания и унижения, которые сейчас, благодаря XXVII съезду партии уже позади. И не только у меня одного.

Между прочим, многие названные мною товарищи (особенно К. Озолиньш) почти тайно, чтобы снова не стать жертвой обвинения, материально помогали студентам, из которых выросли известные деятели науки и культуры.

Я. Лапса. Всех вам благ, товарищ Круминьш!

Беседу о событиях тех лет продолжает **Индрикис ПИНКИСИС**, который был председателем Латвийского республиканского совета профсоюзов, кандидатом в члены бюро ЦК КП Латвии.



Я. Лапса. В начале пятидесятых годов, когда вы, товарищ Пинкисис, работали первым секретарем Лиепайского горкома партии, в «Цине» была опубликована ваша критическая рецензия на роман Лациса «К новому берегу».

КРАТКАЯ СПРАВКА:

ИНДРИКИС ПИНКИСИС родился в 1910 году в Риге, в семье рабочего. В 1927 году вступил в подпольную комсомольскую организацию. Участвовал во многих политических кампаниях подполья, восемь раз его арестовывала тайная полиция буржуазной Латвии.

В 1932 году осужден на пять лет каторжных работ. В 1939 году в подполье принят в партию. В июне 1940 года руководил массовой демонстрацией к Центральной тюрьме.

По специальности слесарь. В 1940—1941 гг. работал инструктором Центрального Комитета.

С началом Великой Отечественной войны добровольно вступил в Красную Армию, сражался в 201-й, впоследствии 43-й гвардейской латышской стрелковой дивизии. Дважды ранен. Награжден пятью орденами и девятью медалями.

После войны был первым секретарем ЦК ЛКСМ Латвии, затем на руководящей партийной работе в Юрмале, Цесисе и Лиелпае.

И. Пинкисис. Да. И до сегодняшнего дня я считаю, что это одна из самых слабых, политически несбалансированных работ Лациса. Но рецензию я написал не по своей инициативе, а по предложению ведущего идеолога Центрального Комитета в те годы Арvida Пельше.

Я. Лапса. Более чем удивительно. Почему же сам Пельше не мог написать ее? Помнится, писал он достаточно гладко.

И. Пинкисис. Тогда я был уверен, что Пельше хотел, чтобы критика шла «сни-

зу». Теперь я многое переоценил. Вполне возможно, что Пельше хотел загребать жар чужими руками, свести на нет Вилиса Лациса и как писателя, и как государственного деятеля, но задевать такого авторитетного человека сам он лично боялся. И он выбрал меня...

Я. Лапса. Мы помним, чем кончилась эта критика. В «Правде» появилась небольшая статья, которая взяла Вилиса Лациса под защиту. Под этим материалом была подпись не конкретного человека, а стояло: «Группа читателей». Но уже в то время ни для кого не было тайной, кто скрывается за этой подписью.

И. Пинкисис. Иосиф Сталин. Никаких санкций после этой статьи не последовало, хотя Пельше, откровенно говоря, здорово перепугался... Порой и Сталин позволял себе быть гуманным.

Я. Лапса. Почему, по вашему мнению, Сталину понадобилось вмешиваться в этот малозначительный спор?

И. Пинкисис. Вряд ли кто-то сможет дать на этот вопрос точный ответ. Возможно, что Сталин был заинтересован в сохранении авторитета Лациса, особенно в плане международных осложнений.

Я. Лапса. Как складывались ваши с ним отношения после этой статьи в «Цине»?

И. Пинкисис. Лацис, похоже, был очень подавлен, глубоко переживал. Но это был наш принципиальный спор, который никогда и ни при каких обстоятельствах не переходил в сведения личных счетов. И на мрачном пленуме 1959 года мы с Лацисом держались плечом к плечу, принципиально, до конца. Я был окрещен буржуазным националистом. Так как я отказался публично признавать свои грехи, меня с шумом прогнали. Вилис Лацис ушел сам. Только не по своей воле. Были созданы такие обстоятельства, что он не мог работать.

Я. Лапса. Вы упомянули печально знаменитый июльский пленум 1959 года. Много интересных деталей о нем рассказал Вилис Круминьш. Но, наверное, у вас есть свои, особые воспоминания.

И. Пинкисис. У меня особенно остался в памяти тогдашний первый секретарь Кировского райкома партии Риги Пашко, который с пеной на губах выступал как один из главных «разоблачителей» «буржуазных националистов».

Следственным органом давно было известно, что Пашко в широких раз-

мерах берет взятки, но все попытки начать расследование наткнулись на вето секретаря ЦК Пельше и секретаря Рижского горкома КПЛ Азана. Когда деятельность Пашко стала принимать скандальные размеры, этого взяточника перевели на работу председателем Комитета по радиовещанию и телевидению. Из своего рабочего кабинета на Домской площади он наконец попал на свое настоящее место — за решетку. Но только после того, как, и я об этом уже говорил, мавр сделал свое дело.

Активная роль в «разоблачении» принадлежала работникам ЦК КПЛ Сухаренко, Александрову и всем нам очень хорошо знакомому Августу Воссу. Страння последнего помогли ему быстро заслужить благоволение Пельше, а дальнейшее развитие событий нам известно.

Я. Лапса. Вместе с вами пострадали без вины многие партийные, советские, хозяйственные работники, деятели науки. Вилис Круминьш уже назвал ученых Александра Никонова и Паула Дзерве и многих других уважаемых людей, на которых навесили лживый ярлык «буржуазного национализма».

И. Пинкисис. Да, и я хотел бы назвать еще настоящих коммунистов: редактора «Цини» Пизанса, секретаря Рижского горкома партии Страуяма, заведующего сельскохозяйственным отделом ЦК Лурина, заведующего отделом административных органов ЦК Кацена, его заместителя Башко, руководителя кадровой группы Совета Министров Зандманиса, министра культуры и иностранных дел Калпина, заместителя министра культуры Черковского, заместителя министра сельского хозяйства Валлиса, заместителя председателя Госплана Мукина, первого секретаря ЦК ЛКСМ Рускулиса, второго секретаря ЦК ЛКСМ Бренциса, редактора газеты «Ригас Балсс» Дарбиня, редактора газеты «Падомью яунатне» Каугура, помощника первого секретаря ЦК КПЛ Кокана, заместителя заведующего отделом пропаганды и агитации ЦК КПЛ Валтерса, заместителя заведующего сельскохозяйственным отделом ЦК КПЛ Рекшино, заместителя председателя Рижского горисполкома Крейтуса, первого секретаря Скрундского райкома партии Скработ, первого секретаря Елгавского райкома партии Павловского и многих других — всего около сотни ответственных работников.

В ходе сталинского рецидива «охоты на ведьм» были освобождены от работы 11 членов ЦК КПЛ, 22 депутата Верховного Совета, 10 бывших секретарей ЦК ЛКСМ. Большая часть из них работали в подполье буржуазной Латвии, сидели в ульманисовских тюрьмах и на Калнциемской каторге, добровольцами дрались на фронтах Великой Отечественной войны.

Я. Лапса. Когда идет речь о подготовке пленума, о его ходе и об оценке его трагических последствий, часто приходится слышать имя Арвида Пельше. Трудно в это поверить. Мы же всегда привыкли видеть Пельше корректным и солидным. Пельше в президиумах. Пельше на театральных премьерах. Пельше на собраниях интеллигенции. Как понять, как объединить эти контрасты?

И. Пинкис. Контраст в самом деле уникальный. Но было бы ошибкой рассматривать личность Арвида Пельше только в белых или черных красках. Я считаю, что он был сложным человеком. Он родился в богатой кулацкой семье, но в юности вместе с Робертом Пельше долгие годы жил в России, в Советском Союзе. Рано стал членом партии. Скорее всего в те годы он меньше всего думал о карьере, а больше — о революционной борьбе. Но культ личности Сталина сформировал характер Арвида Пельше. И не в лучшем смысле слова.

Я. Лапса. Как складывалась ваша дальнейшая жизнь после того, как вас освободили от работы в Республиканском совете профсоюзов?

И. Пинкис. Меня, как говорится, выслали. Правда, не особенно далеко — в Мадонский район. Там я работал начальником дорожно-эксплуатационного района. Некоторые «благожелатели» из ЦК и секретарь Мадонского райкома партии Цинтиньш категорически требовали, чтобы я освободил свою квартиру в Риге. Но в Риге жила вся моя семья, для которой в Мадоне не было ни работы, ни крыши над головой! Но нет — мои комнаты нужны тем, кто строит новую жизнь!

Благодаря заботе секретаря ЦК Леиньша меня перевели на сходную работу в Елгаву. А до этого несколько месяцев вообще был без работы.

Я стоял на партучете в Добельском районе. И там, о ужас, коммунисты района на своей конференции избрали меня членом бюро райкома. Когда об

этом узнали «доброхоты» из аппарата ЦК, были и гром и молния. Давление сверху было настолько сильным, что меня, стопроцентного члена райкома, не приглашали ни на один пленум. Вряд ли в истории латвийской коммунистической партии есть подобный случай.

Наконец министр автотранспорта и шоссейных дорог Вонда, как говорится, не выдержал давления и освободил меня от работы.

Но преследовали не только меня. Припоминаю, что руководители журнала «Звайгзне» получили строгое взыскание за то, что в одной из статей был упомянут солдат Никонов, которого на фронте принимали в партию. Бдительные охотники за «буржуазными националистами» решили, что речь идет об Александре Никонове. Перестарались! Из книг о партизанском движении в Латвии вычеркивалось имя известного руководителя партизанского движения Карла Озолина.

Всего и не перечислить! О событиях тех лет можно было бы написать целую книгу Страданий, книгу Несправедливости, книгу Унижений...

Я. Лапса. Как вы оцениваете последствия упомянувшегося пленума?

И. Пинкис. Последствия были ужасающими. Лучшие, опытнейшие кадры республики были изгнаны со своих постов или на них была надета железная узда. Народное хозяйство и культура пришли в явный упадок. Характерно, что именно после 1959 года Латвия стала стремительно отставать от Эстонии и Литвы, в которых таких пленумов не было.

Я. Лапса. Пытались ли вы бороться против этой явной несправедливости, сообщали ли о положении в Латвии вышестоящим партийным органам?

И. Пинкис. Конечно. Это делали многие и многие несправедливо пострадавшие коммунисты. Но это было то же самое, что биться лбом об стену...

Помню, например, такой случай: в первой половине 1962 года написал обстоятельное, аргументированное письмо Первому секретарю ЦК КПСС Никите Хрущеву, в котором рассказывал ему об «охоте на ведьм» в Латвии. Поехал в Москву, чтобы передать послание лично адресату. К Хрущеву попасть, конечно, было непросто, но я «пробился» к секретарю ЦК Шелепину. И этого было много. Шелепин письмо прочитал, задумчиво покачал головой,

но в конце концов пообещал, что передаст письмо Первому секретарю. А я должен жить в гостинице и ждать звонка. Живу. Жду. Телефон молчит. В один прекрасный день аппарат зазвонил. Говорил сам Шелепин. Так и так: Никита Сергеевич настолько занят важнейшими государственными делами, что рассмотреть мое заявление у него нет времени.

Может, так оно и было, но я очень сомневаюсь, что мое письмо попало к Хрущеву на стол.

Так я с носом и вернулся из Москвы. Но не успокоился. Написал еще раз. Тому же самому Хрущеву. На этот раз

послал письмо по почте. Через какое-то время меня вызвали в ЦК КП Латвии. Усадили за длинный стол, где уже сидели товарищи Белуха, Беманис и другие руководящие работники. Вместо конкретного делового разговора началось промывание мозгов. Заявление так и не было рассмотрено, не сделали ничего конкретного. Теперь, во времена перестройки, правда все же побеждает. Но сколько хорошего своей республике, всему Союзу могли бы сделать те товарищи, которые буквально горели на своей творческой, ленинской работе и которым самым грубым образом заткнули рты.



Василий Масютин.
Манифестация

«Я МЕЧТАЮ О ПОЭЗИИ «ОГОНЬКА», —

ГОВОРIT ОЛЕГ ХЛЕБНИКОВ, ЗАВЕДУЮЩИЙ ОТДЕЛОМ ЛИТЕРАТУРЫ
ЖУРНАЛА «ОГОНЕК»

— Латышские поэты стали для меня своими, — конечно, читаю я их в переводах, но не случайно многие отличные поэты столько сил и времени отдают переводам именно латышской поэзии. Стихи Имантса Зиедониса, Ояrsa Вацietиса, Яниса Петерса, Мариса Чаклайса, а из более молодых — Виктора Авотиньша и Мары Залите интересны своими смелыми ассоциациями, широтой, органично слитыми с лирикой и очень личностным подходом...

В «Огоньке», в этой новой для меня должности я работаю недавно: ко времени публикации материала не пройдет и года. Но поскольку мне хотелось бы говорить не столько о том или ином органе, сколько о том широком общественно-литературном процессе, в котором участвуют и «Огонек» и «Даугава», то, думаю, это не столь уж существенно...

Об «Огоньке», о его редакторе, в последнее время ходит много легенд. Основания для них, честно говоря, имеются. Что тут говорить: журнал, еще недавно грейдами лежавший на прилавках киосков по 5—6 номеров подряд, стал дефицитом; к нам потоком идут слезные письма со всего Союза — проседействуйте, «Огонек» не достать. Одна из легенд такова: Коротич якобы поклялся сделать журнал таким, чтобы его можно было читать от корки до

корки. Сомневаюсь, чтобы он давал такой обет, но «легенда» родилась не на пустом месте — сегодня «Огонек» действительно можно читать с первой страницы до последней, — поверьте, во мне говорит отнюдь не патриотизм местничества, — и отдел литературы старается вносить в это свой посильный вклад.

Факт это очевидный, а вот определить критерии, которыми мы руководствуемся, посложнее — и, конечно же, не потому, что их не существует (такого просто быть не может), но не все из них поддаются четким однозначным дефинициям.

Мы исходим из того, что нужен эстетический плюрализм: это одна из составных частей сегодняшнего нашего бытия; работы, которые выходят в свет в «Огоньке», не должны проходить сквозь валки сверхжесткого редактирования.

Плюрализм, тем более эстетический, — понятие сравнительно новое для нашего общества, и мы готовы к тому, что не всем он будет понятен, не все поймут его необходимость — включая редактора. Он сам вырос на литературе «шестидесятников», литературе безусловно крупной, сильной, социально-активной, но... у Коротича хватает ума и такта понимать, что приходят к жизни новые пласты литературы, новые и в буквальном смысле слова,

и те, которые были скрыты от глаз сегодняшнего читателя годами и десятилетиями, в том числе и из-за соображений, не имеющих отношения к эстетике. Они несут с собой высокое качество, все выше и выше «поднимающее планку».

Еще раз хочу повторить — не всем она может быть понятна, эта «новая» литература. Редакция «Дружбы народов» после публикации платоновского «Чевенгура» получала возмущенные письма от читателей: «Как вы можете печатать эту чушь?». Такие же письма получали и мы после публикации Саши Соколова.

Да, для них это чушь. Потому что они воспитаны в традициях другой литературы, которую условно можно назвать литературой социалистического реализма. Условно — потому что ни к реализму, ни к социализму книги наших вчерашних — да и кое-кого из сегодняшних — «генералов от литературы» не имели никакого отношения. Что же касается соцреализма — и такой метод (если он может называться методом) отображения действительности имеет полное право на существование. Но когда он становится «декретно-всеобъемлющим», когда объявляется, что вне его рамок ничего достойного внимания создано быть не может, — это начало конца литературы или, точнее, она продолжает существовать не «благодаря», а «вопреки».

И руководят ею те «ложные классики», которых Борис Слуцкий припечатал, сказав — цитирую по памяти — что они «ложечками поутру жрут подлинную неподдельную истинную икру». Но при этом торопятся, словно за ними гонится подлинная, неподдельная, истинная конница». Раньше во главе писательского сообщества стояли крупные, неоднозначные фигуры — Фадеев, Симонов и другие, которые безусловно были творческими личностями. Сейчас доминируют чиновники, авторитет которых держится только на значимости того кресла, которое они занимают.

Вот, например... взять поэзию журнала «Москва». Очень низкий уровень, любительский, словно авторы не вышли из рамок литобъединения. Закономерно: «заведует» поэзией в этом журнале Анатолий Парпар, поэт, сам не поднявшийся выше про-

вициального уровня. И если вы сочтете мою оценку субъективной... полистайте поэтические страницы «Москвы», где много стихов и самого Парпара. Но его прочат на должность... заведующего редакцией поэзии издательства «Советский писатель»!

Всегда существовало противостояние настоящей поэзии, литературы и подделочной, вторичной; дело естественное, без такого противостояния литература не могла бы, наверно, развиваться. Но при одном условии: все должны иметь равное право голоса, тем более что на стоящее всегда незащищено. И когда уходят такие фигуры, как Борис Слуцкий, становится еще тяжелее. Борис Абрамович был уникален не только как поэт, которого мы еще не знаем во всем объеме, еще не оценили, — но и как фигура общественная. Почему? Ну, как бы это поточнее сказать... Он никого не боялся. Он мог цыкнуть на кого угодно. И слово о нем сказал Давид Самойлов:

Вот и все, смежили очи гении.

Нету их — и все разрешено.

Такие люди воспитывали своими словами и самим фактом своего существования.

Но, может быть, литературе, литературному процессу полезнее и групповщина, нужны писатели типа Проскурина, Шундика, Алексеева, Иванова — со всей своей поэзией. Нужны как раздражитель.

Порой мне кажется, что в сегодняшней литературе есть какая-то растерянность, удивление.

Специфика русской культуры в том, что она большей частью литературна. В этом ее достоинство, в этом ее беда. Мы часто слушаем и — читаем слово как провозглашение истины. Более того — отождествляем писателя с его героями: достаточно вспомнить обвинения, обрушившиеся на Михаила Михайловича Зощенко.

В наши дни культура все больше становится знаковой, на передний план выходит не Логос, а Знак. Это усложняет поиски общего языка... не говоря уж о том, что политизация, которой всегда отличалась советская литература, нередко может вести к снижению эстетических критериев.

Но рядом с литераторами, которые заняты не поисками истины, а, как говорил Мандельштам, «переводами здравых смыслов», всегда были писатели со своим чистым и четким голосом. Возьмите, например, Фазила Искандера с его удивительной раскрепощенностью, с его умением писать так, словно он впервые видит мир, вспомните Булата Окуджаву, никогда, нигде, ни в чем не покривившего перед своей совестью. Перечисление можно было бы продолжать долго — слава богу, наша земля никогда не была скудна талантами...

Сегодняшняя литература, на мой взгляд, интересна и тем, что мощно расцвела «женская» литература — я подчеркиваю не ее специфику, а тот факт, что она создается женщинами. Я называю только несколько имен, которые у всех, как говорится, на слуху: Л. Петрушевская, Н. Иванова, удивительная своим своеобразием Т. Толстая.

Хочу назвать еще несколько имен

из «молодой» литературы — обратите на них внимание, не пропустите их. Валерий Болтышев из Ижевска — на родине у него выходили книги, но всесоюзному читателю он почти не знаком. И Андрей Волос, рассказчик, один из немногих, кто сегодня умеет писать настоящие рассказы: искусство это почти исчезает, и мы в «Огоньке» сильно это чувствуем...

О чем я мечтаю? Об этом можно было бы долго говорить... но скажу лишь о том, что пока у меня не получается. Я хотел бы печатать таких поэтов и такие их стихи, чтобы потом кто-то мог бы сказать: «Поэзия «Огонька». Так же, как в свое время было — впрочем, оно осталось и сегодня — такое понятие, как «проза „Нового мира“». Задача эта гораздо труднее, чем может показаться на первый взгляд, и сейчас я понимаю это отчетливее, чем когда-либо.

Записал монолог О. Хлебникова
Илан ПОЛОЦК

ПОПРАВКА

Набоков как-то писал об «опустошительных типографских катастрофах» и о «безымянном ужасе печатни». Вот и эпиграмма Юрия Тынянова, приведенная в послесловии к рассказу Набонова в № 9, подверглась искажению. Конечно, как уже догадались многие читатели, третий стих должен выглядеть иначе:

Оставил Пушкин оду «Вольность»,
А Гоголь натянул нам «Нос»,
Тургенев написал «Довольно!»,
А Маяковский — «Хорошо-с».

ИЗ НАБЛЮДЕНИЙ НАД МОТИВНОЙ СТРУКТУРОЙ РОМАНА М. А. БУЛГАКОВА «МАСТЕР И МАРГАРИТА»

§ 2. БЕРЛИОЗ

Первое, что очевидным образом обращает на себя внимание, — это «музыкальная фамилия» Берлиоза. Этот факт, во-первых, специально выделен в романе: Иван Бездомный (демонстрируя свое обычное невежество) говорит, что композитор — это «однофамилец Миши Берлиоза». Во-вторых, благодаря фамилии Стравинского (другого «опекуна» Ивана) музыкальная ассоциация утверждается как неслучайный факт — как мотив в структуре романа.

В чем смысл этого мотива? Прежде всего, вспоминается наиболее популярное произведение Берлиоза, с которым обычно ассоциируется имя этого композитора, — «Фантастическая симфония». Две последние части этого программно-произведения изображают соответственно шестивеи и адский шаш, куда попадает душа после казни. Так, с именем Берлиоза (а через его посредство и со всем миром Грибоедова) изначально связывается тема искупления, казни, судного дня, реализующаяся затем в сцене бала у Воланда, где над Берлиозом произносится окончательный приговор («Каждому будет дано по его вере»). Вторая, не менее важная тема, и притом связанная с первой именно в лице Берлиоза, это тема бала сатаны, шабаша, в характерной музыкаль-

ной окраске. Это, в свою очередь, вызывает дальнейшие ассоциации: «Ночь на Лысой Горе» (в романе Мастера название Голгофы переведено как Лысая Гора), «Вальпургиева ночь» и отсюда, далее, «Фауст» Гете и Гуно, то есть рядом с метафизической «серьезной» ипостасью темы — ее театрализованное оперное воплощение (ср. аналогичное сопоставление Пассиона и литературно-музыкальной передачи — § 1). Можно сказать, что вообще все действие романа постоянно имеет музыкальный фон. При этом два музыкальных феномена выделяются как ключевые, присутствие которых ощущается на всем протяжении действия (в то время как другие элементы музыкального оформления имеют локальное значение). Это Пассионы Баха — для романа Мастера и «Фауст» Гуно — для московского плана повествования (с несомненной иронической «сниженной» окраской, какую несет популярная опера¹).

Тема «Фауста» вообще занимает в романе одно из главных мест, начиная с заглавия и эпиграфа и кончая рассказом о печальной судьбе черных котов в эпилоге (пародия на черного пуделя — Мефистофеля). В данном случае, однако, специальный интерес представляет ее связь с Берлиозом. Берлиоз — «хозяин» Грибоедова, главной достопримечательностью

¹ Ср. с аналогичным эффектом, использование арии из «Аиды» в повести «Собачье сердце».

которого несомненно является ресторан¹. В сочетании с темой «Фауста» это дает новую ассоциацию — п о г р е б о к А у з р б а х а. Данная связь подтверждается в сцене гибели Грибоедова: кот, направляющий струю бензина из примуса, пародирует фокус Мефистофеля с винным бочонком (как и сам по себе черный кот является пародийной ипостасью Мефистофеля). Но Ауэрбах, в свою очередь, вводит в ассоциативный круг новое лицо — генерального секретаря ВАППа и редактора журнала «На литературном посту» А в е р б а х а. Пара Берлиоз — Авербах к тому же хорошо соответствует паре Бездомный — Безыменский, и тем самым обе ассоциации взаимно поддерживают друг друга. Ср. также прием преобразования («уточнения») имен: Иисус — Иешуа, Иерусалим — Ершалаим, а также, косвенно, Иван — Иоанн (см. § 1), не только узаконивающий тождество Ауэрбах — Авербах, но и придающий этому отождествлению более обобщенный символический смысл.

Но и это еще не конец цепи. Дело в том, что фамилия Ауэрбах / Авербах, в свою очередь, является «музыкальной фамилией»; перед нами вновь выступает тема Баха. Заметим, что дом, в котором жил Берлиоз, имел номер 302-б и с — анаграмма имени И. С. Бах. Аналогичную анаграмму дает и сложение инициалов двух других «музыкальных фамилий», представленных в тексте романа: Берлиоз и Игорь Стравинский (обычная форма, в которой имя последнего фигурировало на афишах 20-х годов)². Наложение имени Баха на эпизод из «Фауста»

придает теме Баха в романе специфически «лейпцигскую» окраску, то есть Бах предстает как «кантор святого Фомы». Отсюда — новое пародийное сопоставление с Корольвым-Фаготом — отставным регентом, столь же парадоксальное, как и связь с Берлиозом / Авербахом. Интересно и еще одна линия, связывающая Баха с темой «Фауста», — популярнейшая обработка прелюдии Баха, сделанная Гуно на слова Ave Maria. Ср. косвенное «негативное» экспонирование последнего произведения в фокстроте «Аллилуйя», исполняемом в Грибоедове: «в аду» — слово, как бы случайно оброненное по поводу шумного ресторана, — и затем на балу у Воланда¹.

Вернемся, однако, еще раз к дому 302-бис. Обнаруженная здесь анаграмма делает, в свою очередь, неслучайным тот факт, что сумма цифр в числе 302 образует «5», и такой же итог дает квартира № 50 (с самого начала представленная в качестве «нехорошей квартиры»), где разворачиваются все основные события. «5» — магическое число, и в этом качестве оно используется в структуре романа: в первой сцене упоминаются «доказательства бытия Божия, коих, как известно, существует ровно пять»; действие в Москве разворачивается в мае; в канун еврейской Пасхи — «ровно четырнадцатого числа» (снова «5» в сумме цифр) происходит действие в романе Мастера; в первый вечер Пасхи над храмом Ершалаимским горят два гигантских пятисвечия (и в ту же ночь на субботу — ночь бала у Воланда — горят лампы в десяти кабинетах «в одном из московских учреждений»). Кстати, номер комнаты Мастера в клинике — 118, что в сумме цифр дает «10». Наконец Пилат — пятый прокуратор Иудеи (не случайно он также представлен в романе в качестве «сына короля-з в е з д о ч е-

¹ Тема Берлиоза как «хозяина» дома находит неожиданное, но точное соответствие в образе дяди из Киева — этом живом олицетворении бессмыслицы происходящего («в Киеве дядька»). Как сам Берлиоз «унаследовал» дом, принадлежавший т е т к е Грибоедова, так его дядя пытается «унаследовать» квартиру самого Берлиоза, причем в обоих случаях дело заканчивается крахом — пожаром.

² На балу Воланда появляются также Иоганн Штраус (Johann Strauß), подтверждающий значимость инициалов И. С. [Штраус — «двойник» Стравинского, согласно той же технике преобразования имен, принятой в романе]. Что касается Берлиоза, то его имя Hector в данном случае оказывается нейтрализовано именем «Миши Берлиоза» [профессор Стра-

винский своего имени в романе не имеет], хотя, возможно, оно все же в конечном счете проступает в других мотивных связях (ср. § 4).

¹ Аналогичное сопоставление встречаем в «Театральном романе» — в словах дирижера Романуса о том, что председатель месткома не сможет отличить фугу Баха от фокстрота «Аллилуйя».

т а»). Таким образом, в номере 302-бис обе части криптограммированы, взаимно поддерживая друг друга в этом качестве и утверждая общий магический тонус, который хорошо согласуется с идеей «Фауста», черной магии и т. д. (ср., в частности, пентаграмму в «Фаусте» Гете)¹.

Легко увидеть, что все это обыгрывание чисел одним концом выходит к Берлиозу (номер его дома и квартиры), другим же — к Мастеру и Иешуа. Если возникающая таким образом связь не является случайной, то она должна конституироваться в качестве мотива, то есть быть репродуцированной в каких-либо других точках романа. И действительно, в этой связи обращает на себя внимание ученая лекция, которую в начале романа Берлиоз читает Бездомному. В ней, между прочим, говорится о параллелях, возникающих у христианства с восточными культами умирающего и воскресающего бога — Озириса, Фаммуза и т. д. Перед нами как бы образец мотивного анализа, представленный в тексте самого романа. Как известно, в различных вариантах восточных культов бог оказывается разрезанным или разорванным на куски, которые потом чудесным образом соединяются — бог воскресает. Именно это вскоре случилось с самим

Берлиозом — ему отрезали голову¹, и затем, чтобы выставить тело для официального прощания в МАССОЛИТе, ему пришивают голову «кривой иглой». Уподобление Берлиоза умирающему / воскресающему богу подтверждает его связь с темой Иешуа. Правда, воскресение не состоялось, более того, впоследствии голова оказывается украденной, что придало всей истории гротескно-скандальный оттенок (ср. гоголевский «Нос»). Но тут уж — «каждому будет дано по его вере», и уподобление еще более подчеркивает разл и ч и е. Характерно, однако, что на Патриарших прудах сбываются слова не только Воланда, но и самого Берлиоза. Таким образом, Берлиоза, жизнь которого «складывалась так, что к необыкновенным явлениям он не привык», отрицающего существование бога и дьявола, как оказывается, еще до появления Воланда буквально со всех сторон обступало сверхъестественное: в номере его дома и квартиры, в его собственной фамилии, в лекции, которую он прочитал на Патриарших прудах. Доказательство бытия Бога и вообще сверхъестественного «предъявлено» Берлиозу не только в момент его гибели, но оказывается также рассеяно (для читателя) на всем протяжении романа, вплоть до кульминационной сцены с головой-чашей на балу у Воланда.

Обратимся теперь более подробно к этой последней теме — отрезанной голове Берлиоза — и проследим ее мотивные связи. Конечно, здесь прежде всего мотив к а з н и, связывающий данную тему с «Фантастической симфонией», с одной стороны, и с Иешуа, с другой, то есть еще раз подтверждающий весь уже проанализированный круг ассоциаций. Во-вторых: судьба черепа, превращенного в чашу, — это судьба Святослава, посл е д н е г о языческого князя Древней Руси. Тема языческой Руси, вводимая

¹ В. Лёвшин в воспоминаниях о Булгакове идентифицирует дом № 302-бис как дом на Большой Садовой № 10, в котором писатель жил в 1921—1923 гг. в квартирах № 50 и 34. Приметы этого дома и квартир, помимо романа, опознаются автором воспоминаний в рассказе «№ 13. Дом. Эллипс — Рабкоммуна»; в конце этого рассказа дом с г о р а е т, чему соответствовал, по свидетельству В. Лёвшина, реальный пожар в доме № 10, хотя и не имевший столь катастрофических последствий. В. Лёвшин находит также интересные параллели между № 302 и комнатой 302 в «Дьяволяде» — таинственным, никем никогда не виденным Бюро претензий и эпизодом из «Театрального романа», где Рудольфи предлагает Максудову внести единственное исправление в его рукопись — вычеркнуть на стр. 302 слово «дьявол» (ср. также № 13 в рассказе), и на основании этих параллелей приходит к выводу о криптографическом характере этого номера (В. Лёвшин, Садовая, 302-бис, «Театр», 1971, № 11, с. 116—117).

¹ Мотив «разорванного на куски» тела еще усилен в сцене в море, где говорится, что то, что недавно было Берлиозом, лежало на трех столах: голова, обезглавленное тело и остатки одежды; упоминание лежащей грудой одежды к тому же дает дополнительную связь со сценой распятия и, тем самым, с Иешуа.

этим образом в конце романа уже с полной очевидностью, ретроспективно находит ряд поддерживающих ее ассоциаций и в предшествующем изложении: Стравинский (ср. его балет «Весна священная», с подзаголовком «Картины языческой Руси», и ряд других произведений), сказочность «Иванушки» Бездомного и т. д. Отметим здесь (в особенности в связи со Святославом) мотив кануна — не просто язычества, но предхристианства, который, однако, остается принципиально незавершенным, открытым (ср. в связи с темой Иванушки § 1). В этой же связи находится и тема пророчества — парадоксального на первый взгляд, но затем сбывающегося, правда не буквально, а метонимически (голову Берлиозу отрезала не сама «комсомолка», как было предсказано, а трамвай, которым она управляла) — ср. аналогичную ситуацию в истории смерти другого князя языческой Руси — Олега. Наконец, мотив покотившейся по земле отрезанной головы вводит, в круг все тех же сказочно-языческих ассоциаций, «Руслана и Людмилу» (снова Пушкин, и снова двойной — поэтически-оперный — образ). «Руслан и Людмила», в свою очередь, приводит с собой хрестоматийные ассоциации с «котом ученым», русалкой и лешим. Ср. популярную пародию 20—30-х годов:

У лукоморья дуб спилили,
Златую цепь в торгсин снесли,
Кота в котлеты изрубили,
Русалку на цепь посадили,
А лешего сослали в Соловки,

содержащую удивительно много точек пересечения с текстом романа — вплоть до неопределенно-личной формы глаголов, широко используемой, например, в сцене допроса и сна Никанора Ивановича, облаты на квартире № 50 и т. п.

§ 3. МОСКВА

3.1 Параллель «Москва — Ершалаим» является одной из наиболее очевидных в романе; в некоторых своих параметрах она экспонирована на самой поверхности мотивной структуры. Это и время действия (пятница и ночь на субботу), и общий экстерьер

города, залитого днем лучами палящего солнца, а ночью полной луны, и грозы, принесенные с запада и накрывающие город тьмой. Упомянем и другие, называвшиеся уже выше, детали антуража: кривые узкие переулки Арбата — Нижний Город, толстовки — хитоны, два пятисвечья над храмом Ершалаимским в ночь Пасхи — десять огней в окнах «учреждения» в ту же ночь. Даже подсолнечное масло Аннушки, сыгравшее такую роковую роль в судьбе Берлиоза, находится в pendant к розовому маслу, запах которого преследует и мучает Пилата.

Далее, дом Грибоедова обнаруживает целый ряд параллелей с дворцом Ирода Великого: многократно упомянутая решетка ограды — ср. колоннаду дворца; нарисованные на стенах ресторана скачущие кони с ассирийскими и гривами — ср. сирийскую конницу, проносящуюся перед дворцом (NB прием «уточнения имен»); статуя Пушкина неподалеку — золотые статуи-идолы (об этой параллели см. также § 5); упомянем и джаз, исполняющий фокстрот «Аллилуйя».

Клиника Стравинского за городом («дом скорби») вызывает параллель с Гефсиманским садом. Интересно, как каноническая, соответствующая тексту Евангелия функция Гефсиманского сада в романе дана именно в московском срезе, через образ Мастера; в повествовании же о Ершалаиме Гефсиманский сад оказывается местом убийства Иуды. Но эти две линии оказываются связаны с помощью мотивной техники: встреча на улице Иуды и Низы (заманившей его за город) и первая встреча Мастера и Маргариты образуют четкую параллель. Помимо мизансценического сходства скрепляющую роль играют слова Мастера: «Любовь выскочила перед нами, как из-под земли выскакивает убийца в переулке, и поразила нас сразу обоих! Так поражает молния, так поражает финский нож!» (одновременно здесь и пророчество — Мастер и Маргарита умирают вместе, прежде чем попасть в «приют»). В этом примере видно, как подключается в структуру романа канонический евангельский текст.

Общий античный антураж дополняет финдиректор Римский и гурман

Амвросий («бессмертный»), отказывающийся идти в ресторан «К о л з е й». Последняя деталь важна тем, что связывает Москву не только с Ершалаимом, но и с Римом¹, и с судьбой первых христиан в Риме. Кстати, Амвросий и Фока — имена римских епископов (IV и II век соответственно), причем Фока погиб при императоре Траяне (ср. амплуа «неудачника» у Фоки в романе). В связи с данным мотивом находится также многократно упоминаемый «Метрополь»².

Наконец, в одной из последних сцен (прощание Мастера с Воландом) оба города выступают из тьмы рядом, венчая все предыдущие сопоставления.

Параллелизм деталей дополняется словесным параллелизмом: на протя-

жении всего романа переход из одного города в другой совершается в виде монтажа (повторения связующей фразы)³. Оба плана повествования (повесть о Пилате и Иешуа и роман в целом) заканчиваются одной и той же фразой, которая заранее оговорена (предсказана) как последняя фраза романа.

Сходство антуража подчеркивает прежде всего родство событий, происходящих во «внутреннем» и «внешнем» романе, истории главных героев обоих этих срезов — Иешуа и Мастера. Это обстановка города, не принявшего и уничтожившего нового пророка (ср. мотивы язычества, дохристианской Руси, рассмотренные выше). Однако на фоне этого параллелизма проступает и важное различие. Иешуа в романе противостоит одна и притом крупная личность — Пилат. В «московском» варианте данная функция оказывается как бы распыленной, раздробленной на множество «маленьких» пилатов, ничтожных персонажей — от Берлиоза и критиков Лавровича и Латунского до Степы Лиходеева (который лихорадочно упоминает один «ненужный» разговор при виде печатей на дверях комнат Берлиоза) и того персонажа, вовсе уж без имени и лица (мы видим только его «тупоносые ботинки» и «увесистый зад» в полуподвальном окне), который мгновенно исчезает при известии об аресте Алоизия Могарыча. Пилат превращается в «пилатчину»: словечко, изобретенное Лавровичем в кампании травли Мастера и харак-

¹ М. О. Чудакова отмечает связь между описанием Москвы в романе и видом Рима в одноименном произведении Гоголя, которым Булгаков хотел начать выполненную им инсценировку «Мертвых душ» [см. М. О. Чудакова, у к. соч., с. 128—129]. Ср. также отмеченную ею «мифологизацию» Киева через наименование его Городом [Рим — Urbs] в «Белой гвардии». К этому можно добавить, что в отдельных сценах «Белой гвардии» проступает и ершалаимский мифологический план. Ср. сцену убийства еврея, заканчивающуюся грохотом канонады [параллель грозе в сцене распятия]: «И в ту минуту, когда лежащий испустил дух, звезда Марс над Слободкой под Городом вдруг разорвалась в замерзшей выси, брызнула огнем и оглушительно ударила. Вслед звезде черная даль за Днепром, даль, ведущая к Москве, ударила громом тяжело и длинно. И тотчас гайдакская дивизия тронулась с места и побежала в Город» [ср. сирийскую кавалерийскую алу, уходящую с места казни с началом грозы]. Напомним также мотив Владимирской горки и «креста на чугуном Владимире» в первом романе и в наброске «Тайному другу». Все это свидетельствует о принципиальной важности и сквозном характере в творчестве Булгакова именно этих трех пластов: Ершалаим — Рим — современный город [Киев или Москва].

² Соотношение «ресторан «Коллизей» / Коллизей» и «гостиница «Метрополь» / метрополис» подкрепляется и следующим примером пропорционального [зеркального] соотношения: когда Лиходеев телеграфирует из Ялты, его местопребывание «рашифровывается» получателями как чебурачная «Ялта».

³ Ср. широкое использование аналогичного приема в более раннем произведении — фильме Гриффита «Нетерпимость» [D. Griffith. Intolerance, 1916], и по проблематике и по приемам построения имеющих ряд интересных параллелей с романом Булгакова [фильм шел в 20-е годы в СССР, правда без одной из сюжетных линий — страстей Христа]. Родство с этим фильмом подтверждается, как кажется, и введением в роман темы королевы Марго (Маргарита оказывается ее потомком), а значит, и Варфоломеевой ночи — одной из линий эпоса Гриффита [напомним, что в 8-серийной эпосе Гриффита сложно переплетены в монтаже четыре сюжетные линии — гибель Вавилона, страсти Христа, Варфоломеева ночь и история из современной жизни, — объединенные общей темой «нетерпимости»].

теризующее как будто бы (как думает сам Лаврович) именно Мастера (подобно тому, как Иешуа в Ершалаиме получает «официальное» наименование «разбойник и мятежник») — в действительности же Лаврович (как раньше Берлиоз), сам того не ведая, произносит пророческое слово о самом себе и «своем» мире.

Данное смещение в трактовке темы Пилата реализуется посредством «квартирного» мотива. И Ершалаим и Москва — город бездомных. Но если Иешуа (так же как и Мастер) оказывается бездомным в буквальном смысле — то Пилат ощущает себя крайне неудобно устроенным во дворце Ирода Великого. Он жалуется на то, что «не может ночевать» во дворце (и действительно спит на веранде), что это «бредовое сооружение» сводит его с ума. Аналогичным образом бесчисленные московские персонажи рисуются всячески озабоченными «квартирным вопросом».

Бесприютность, неустроенность в «ненавистном городе» заставляет Пилата мечтать о том, чтобы поскорее вырваться из него, уехать в свою резиденцию, в Кесарию Стратонову на Средиземном море. И этот мотив также оказывается *idée fixe*, которой одержимы обитатели Москвы. Тут и намерение Берлиоза «вырваться» в Кисловодск, и скандал в Грибоедове вокруг дач в писательском поселке Перелыгино (еще один реальный намек: Перелыгино — Переделкино), и «творческие командировки» в Ялту, которые с боем добывают члены МАССОЛИТА¹, и зависть администрации Варьете к Степе, якобы веселящемуся в подмосковной чебуречной. Бесприютность и тоска Пилата пародируются, превращаясь в бытовые хлопоты московских «граждан»², как

и сам этот образ оказался пародийно измелченным и раздробленным¹. Все различие между оригиналом и пародией находит отражение в конечной развязке: Пилат получает прощение, участь же Берлиоза — не бытие.

Символическое отражение описанной метаморфозы дано в сопоставлении двух солнц, светящих над двумя городами. В обоих случаях это палящее, заливающее светом и зноем солнце. Однако над Ершалаимом светит одно солнце, над Москвой же солнце оказывается, с самой первой сцены у Патриарших прудов и до конца романа, разломанным на тысячу кусков (в отражениях в стеклах домов); эта деталь подчеркнута и в финальном сопоставлении, когда два города являются одновременно: Москва предстает в этом сопоставлении как «город с монастырскими пряничными башнями, с разбитым вдребезги солнцем в стекле» (причем эти «пряничные башни» сами в свою очередь образуют оппозицию с «глыбой мрамора» — храмом Ершалаимским, с тем же пропорциональным соотношением, что и в противопоставлении двух солнц).

3.2. Помимо сопоставления противопоставления двух городов, образ «вдребезги разбитого», «ломаного, сверкающего в тысячах окон», «изломанного и навсегда уходящего от Михаила Александровича» солнца имеет несомненно еще один — апокалиптический — смысловой оттенок. Такое осмысление точно подтверждается и становится мотивом благодаря образу «разваливающейся на куски» луны, которая в таком виде появляется единственный раз — перед глазами Берлиоза в момент его гибели.

¹ Ср. разговор безмянных персонажей, введенный якобы с единственной целью проиллюстрировать выражение «в Грибоедове»: «Я вчера два часа протолкался у Грибоедова. — Ну и как! — В Ялту на месяц добился. — Молодец!» — в действительности вводящий нас в атмосферу всеобщего бегства из города.

² Кстати, постоянно употребляемое в романе слово «гражданин» / «гражданка» служит, по-видимому, еще одной иронической отсылкой к Риму и римлянам.

¹ Ср. описание веселья в Грибоедове, с длинным перечислением пляшущих в ресторане: «плясали ... писатель Иоганн из Кронштадта, какой-то Витя Куфтик из Ростова ... плясали виднейшие представители поэтического подразделения МАССОЛИТА, то есть Павианов, Богухольский, Сладкий, Шпичкин и Адельфина Буждяк, плясали неизвестной профессии молодые люди в стрижке боксом» и т. д. — после чего приемом несобственно-прямой речи [как бы от лица всех] вводится слова Пилата: «О боги, боги мои, яду мне, яду!..»

Город с раздробленным солнцем — это гибнущий город. Сам характер этого символа гибели точно соответствует участи самого Берлиоза. Тем самым приговор, произнесенный голове Берлиоза Воландом на балу («небытие»), также приобретает обобщенно-символический характер и переносится на весь город «с разбитым вдребезги солнцем». И действительно, тема «конца света» составляет важный аспект мифологического взаимного наложения Москвы и Ершалаима. Рассмотрим подробнее другие мотивы, в которых разрабатывается эта смысловая линия.

Одной из центральных точек, в которых сплетаются нити эсхатологически-инфернальных мотивов, оказывается театр Варьете (замечательна сама идея соединения апокалипсиса с балаганом). Спектакль Варьете — сеанс черной магии имеет типично карнавальную смысловую амбивалентность. С одной стороны — это пародия на чудеса, совершаемые Христом (еще один пример косвенного введения евангельского текста): воскрешение мертвого (эпизод с конферансье), превращение воды в вино (хотя и совершаемое метонимически: этикетки от нарзанских бутылок превращаются в червонцы, с которыми зрители тут же отправляются в буфет). С другой стороны, это бал сатаны, бесовский шабаш: раздетые «гражданки», оказавшиеся у выхода из театра после сеанса, напоминают о наряде дам на балу у Воланда; разговор с оторванной головой Бенгальского соответствует появлению на балу головы Берлиоза; разоблачение Семплеярова — разоблачению Майгеля.

Связующим звеном, которое позволяет слить эти два плана в амбивалентное единство, является мотив Лысой Горы: места казни Иешуа, но одновременно и места шабаша («Ночь на Лысой Горе», см. § 2). Театр Варьете отождествляется с Лысой Горой: на следующий день после первого спектакля в кассу театра выстраивается такая очередь, что оказывается необходимым вмешательство конной и пешей милиции (ср. «двойное оцепление» Лысой Горы); затем, после того как было объявлено об отмене сеанса, очередь постепенно распадается — толпа расходится, как в сцене казни. Сама

тема казни ясно проступает на спектакле (оторванная голова) и, с другой стороны, на балу Воланда: подчеркнутая мучительность миссии Маргариты, счет на часы (как на Голгофе), наконец губка, которой вытирают ее колени. Ср. , с другой стороны, веселую песенку, которую поет сошедший с ума Гестас в сцене казни, ведущую к теме бала/спектакля.

Сложное сплетение смысловых планов неожиданно пародийно представлено в лице Степы Лиходеева, директора Варьете, при его первом появлении: его неузнаваемо опухшее лицо — мотив, связывающий с Иешуа на кресте и казнь; мучительная головная боль, невозможность пошевелить головой — с Пилатом; припоминаемый им эпизод с «какой-то дамой», к которой он обещал прийти в гости, причем испуганная дама говорила, что дома будет муж, — с Иудой.

От Варьете, как от центральной точки, все это сложное смысловое поле театральности (балагана) и одновременно бесовского шабаша (который должен исчезнуть в одно мгновение), и казни-искупления — как бы растекается, заполняя собой все пространство романа. Так, все чудеса, продемонстрированные во время сеанса, публика пытается объяснить «массовым гипнозом». В дальнейшем (в эпилоге) гипноз оказывается официальным объяснением вообще всего, что происходило в Москве за время пребывания там Воланда и его свиты. Тем самым вся Москва предстает в виде некоей расширившейся сцены театра Варьете, а все совершающееся получает оттенок балаганного представления. Действительно, проделки Коровьева и Бегемота имеют ярко выраженную игровую, балаганную окраску. Связь «бытовой» Москвы со спектаклем Варьете и, далее, с балом сатаны подкрепляется и «голой гражданкой», с которой Бездомный сталкивается в сцене погони (даже мочалка, которой гражданин замахнулась на Бездомного, соответствует уже упоминавшейся губке в сценах казни и бала).

Параллель Москва — театр (балаган) усиливается также благодаря постоянному «музыкальному оформлению» действия. Так, погоня Бездомного за Воландом идет под непрерывный музыкальный (и притом оперно-«баль-

ный») аккомпанемент — «рев полонеза», затем ария Гремينا («Евгений Онегин»). Вылет Маргариты на шабаш тоже совершается под рев вальсов и маршей. Ср. также «слегка фальшивящие трубы» траурной процессии (похороны Берлиоза)¹, джаз в Грибоедове. Характерно, что те же номера (вальс, фокстрот «Аллилуйя») звучат на балу у Воланда. Кульминацией музыкальной театрализации становится сцена с принудительной самодеятельностью: служащие филиала зрелищной комиссии, хором исполняющие «Славное море, священный Байкал» — и так, с пением, на машинах отправляющиеся в клинику Стравинского, причем горожане не обнаруживают в этой процессии ничего особенного, принимая ее за обыкновенную загородную экскурсию.

Вообще клиника Стравинского оказывается финалом каждого акта того скандала-спектакля, который развертывается на протяжении всего романа, что связывает ее с театром Варьете. Ср. чисто театральные мизансцены: безмолвные санитары, шеренгой стоящие у стены, или торжественный «выход» Стравинского в сопровождении свиты («Шествие Старейшего-Мудрейшего» из «Весны священной» или «Марш Черномора»). Одновременно, как уже говорилось, здесь присутствуют черты сказочности. Наконец, у этого сверхъестественного, мифического мира и одновременно балета-балагана есть еще один, третий план: это — т ю р ь м а («Итак, сидим?» — спрашивает Мастер у Ивана. — «Сидим», — отвечает тот; ср. также подробнее о мотиве тюрьмы в § 5). Оказываясь второй важнейшей точкой романа, которая стягивает к себе все нити общего спектакля — шабаша — казни, клиника, в свою очередь, по принципу обратной связи придает всему происходящему коннотацию с у м а с ш е д ш е г о д о м а (типичная ассоциация: балаган — Бедлам — ад).

Следующий круг расширения «сценического пространства» связан с со-

бытиями, происходящими уже помимо участия Воланда и его свиты. Эти события не только имеют такую же чудесную магическую природу, но постоянно обнаруживают точное соответствие с проделками нечистой силы. Таковы, например, трансмутации, происходящие с героями в эпilogе: чудесное перенесение Степы Лиходеева из Москвы в Ялту соответствует здесь не менее чудесному превращению его из директора московского Варьете в директора ростовского «Гастронома»; аналогично, Семплеяров из председателя акустической комиссии превращается в заведующего грибнозаготовочным пунктом в Брянске.

Вообще чудо со «смертью» Степы (он подумал: «Я умираю...») и последующим воскресением-вознесением в Ялту-эдем («красивый город на горах») не только является пародийной репродукцией евангельского мотива, но и само, в свою очередь, репродуцируется в «бытовом» плане московского повествования в выступлении артиста Саввы Потаповича Куролесова (в сне Босого): Босому показалось, что артист на сцене закончил свой номер тем, что «умер злостью смертью», но тут же поднялся, отряхивая пыль с брюк (то есть воскрес); ср. также параллелизм фамилий Лиходеев — Куролесов и таблички с надписью «Разбойник и мятежник» на груди Иешуа. Вся эта сцена, данная глазами «наивного» зрителя (Босого, никогда прежде не бывшего в театре), моделирует то постоянное слияние «спектакля» и «жизни», которое имеет место в романе. Добавим, что еще одно воскресение — действительно чудесное, но названное «жুলьническим» — совсем уж пародийно дано в сцене ареста Бегемота и пожара в квартире № 50.

Далее, чудесный магазин с необыкновенными, невиданными товарами, созданный Коровьевым во время сеанса в Варьете, соответствует такому же волшебному великолепию торговца (повторяющийся в обоих случаях мотив — гражданки, примеривающие, «деловито постукивая», туфли-лодочки).

В эпilogе мы оказываемся свидетелями пародийного шествия на Голгофу: имеется в виду сцена с черным котом, которого некий гражданин связал галстуком и потащил, спро-

¹ Похороны М. А. Булгакова, согласно воле писателя, происходили без музыки и [см. М. О. Чудакова, ук. соч., с. 142; о соотношении мотивов романа и биографии писателя см. также далее § 7.1].

вождаемый толпой мальчишек, в милицию. История кончилась благополучно, но коту пришлось «узнать на практике, что такое ошибка и клевета».

Ср. также таинственное исчезновение людей из «нехорошей квартиры» № 50, о котором повествуется в начале романа. Чудеса, которые творит затем Воланд с этой квартирой при помощи «пятого измерения», вполне соответствуют чудесам, которые некий гражданин совершает со своей «жилплощадью» без всякого пятого измерения.

Даже отсутствие в киоске «Пиво-воды» и пива и нарзана соответствует отсутствию, в сознании Берлиоза и Бездомного, Бога и дьявола («Что же это у вас, чего ни хватишься, ничего нет», — с иронией спрашивает у них Воланд). Это подчеркнутое в самом начале романа «двойное отсутствие» предваряет конечный приговор — небытие.

Наконец, всеведение и всемогущество, которые обнаруживает «симпатичный молодой человек» в сцене сна Никанора Ивановича, столь же сверхъестественны и безграничны, как и у самого Воланда. Он таким же необъяснимым образом знает все о тетке Канавкина и ее особняке, как Воланд — о киевском дяде Берлиоза; так же проникает в тайны семейной жизни Сергея Герардовича Дунчиля, как Коровьев — в аналогичные обстоятельства Аркадия Аполлоновича Семплеярова. Итак, оказывается, что и без присутствия Воланда изображаемый в романе мир проникнут теат-

рализованной мистикой. Этот мистический мир, мир безумия и балагана, веселящийся (не всегда по доброй воле) и в то же время идущий на казнь, как бы являет собой разросшуюся и заполнившую все пространство романа сцену шабаша, кружащегося в ожидании крика петуха, чтобы исчезнуть, уйти в небытие. Но в рамках романа этот момент как будто не наступает, во всяком случае он не дан однозначно. Здесь вновь, как и в судьбе Иванушки-Бездомного, мы сталкиваемся с идеей незамкнутости действия, с идеей «кануна», не находящей окончательного и однозначного разрешения¹.

¹ Заметим, правда, что мотив и с ч е з н о в е н и я настойчиво повторяется в последних главах романа, как раз после сцены с головой Берлиоза и произнесенного Воландом приговора. Сначала это бесследное исчезновение истории болезни Мастера и записи в домовых книгах, а затем и исчезновение всего города после прощания с ним Мастера: город «пропадает в тумане», затем еще раз высвечивается, но уже как мифический феномен — рядом с Ершалаимом, и окончательно пропадает во тьме. Однако этот мотив исчезновения (как и мотив преображения Ивана) дезавуируется в эпилоге — роман-миф не дает окончательного решения, как и всякое пророчество, сбывающееся лишь фигурально-метонимически.

Продолжение следует

«ВОТ Я ВЕСЬ...»

К АНАЛИЗУ «ГАМЛЕТА» ПАСТЕРНАКА

Мы привыкли к тому, что художественное произведение существует изолированно от нашей реальной жизни — его изучают в школе, оно пылится на полке. Между тем поэзия и проза — это живая речь, которая доносится до нас из радиоприемников, с эстрады, из разговоров наших друзей и знакомых. Художественное произведение в этом смысле — часть нашей реальности. Но при этом любой роман мечтает как можно лучше «притвориться» реальностью, поэтому почти в каждом художественном тексте мы читаем одну и ту же фразу: «В романах обычно пишут неправду, в настоящей жизни все происходит по-другому». Подразумевается, что этот (очередной) роман — и есть настоящая жизнь . . . Если же в корпус романа вмонтированы стихи героя — то они одновременно принадлежат и реальному миру писателя Пастернака, и вымышленному миру доктора Живаго. Они существуют на границе, на пересечении нескольких художественных миров: мира поэзии Пастернака, мира его прозы, мира (вымышленного, как бы сказали логики — интенционального) поэзии Юрия Андреевича Живаго. Понятие «возможных миров», то есть различных типов ситуаций, в одном из которых некая вещь принимает одно значение, а в другом противоположное (например, в Европе траур обозначается черным цветом, а в Китае — белым), было предложено еще Лейбницем и получило плодотворное развитие в современной логике. В статье С. Золяна теоретические основы семантики возможных миров применяются к анализу стихотворения «Гамлет». Кто такой лирический герой — «я» — этого стихотворения: Пастернак! Гамлет! Шекспир! Христос! Доктор Живаго! На пересечении скольких возможных миров существует это «я» и как трансформируются его значения при переходе из одного мира в другой? Таковы проблемы, рассматриваемые в этом исследовании.

В. РУДНЕВ

Одна из важнейших проблем, с которой сталкивается как всякая культура в целом, так и отдельная личность, — это проблема самоидентификации. Это проблема «я» — «я» в широком смысле. Кто мы такие? Кто я такой? — вот вопросы, на которые призваны ответить и идеологи культуры, и ее рядовые носители, и сама культура в целом. Вопрос, строго говоря, бессмысленный. Ведь я — это я. Мы — это мы. Но не подобные тавтологии, а нечто иное стоит за задаваемым вопросом — стремление отождествить себя с чем-то иным, преодолеть физическую самотождественность, заменив ее духовной самоидентификацией.

Из множества аспектов этой проблемы хочу затронуть лишь один — лингво-литературоведческий. Ведь культура стремится осознать себя как иерархически организованную систему текстов (Ю. М. Лотман), причем письменная культура — как система книг, в которых культура осознает себя. Но это — культура в целом. Об отдельных индивидах книг не пишут, поэтому отдельная личность осознает себя через систему литературных произведений, с героями которых она стремится быть идентифицированной. Идеальный, чисто психический и лингвистический характер механизмов такой идентификации оказывается в данном случае куда более очевидным.

Но каким образом я, сохраняя свою физическую самотождественность, оказываюсь еще и кем-то другим, который — также я? На каком основании я утверждаю: вот эта книга — обо мне, про меня? Особенно если учесть, что тот, с кем я себя идентифицирую, есть никто, он никогда не существовал.

Я — Гамлет. Холодеет кровь,
Когда плетет коварство сети
И в сердце — первая любовь
Жива — к единственной на свете.

Это написал Блок. Что, разве он не знал, что он Блок, а не Гамлет? Известно, что Блок играл роль Гамлета в домашних постановках. Но здесь речь идет совсем не о том, и даже не о Блоке. Ведь всякий, кто повторит за Блоком: «Я — Гамлет...», будет Гамлетом, ибо заговорит о себе. Но ведь самого Гамлета никогда не существовало (во всяком случае, Гамлета Шекспира, а не исторической хроники), и, стало быть, всякий вынужден говорить о себе как о несуществующем. И, кстати, чьи слова я повторяю, говоря: «To be or not to be», — Гамлета? Шекспира?

Проблему легко довести до абсурда. Это заметил писатель с обостренным чувством парадоксального, Борхес. В вымышленной стране Тлён одна из церквей выдвинула доктрину, одним из положений которой стало то, что «все люди, повторяющие некую строку Шекспира, суть Уильям Шекспир».

Думаю, однако, что проблема имеет решение. Но надо отказаться от попыток охватить всё и вся. Мы начнем с малого: рассмотрим, что же представляет собой семантика местоимения «я» в поэтическом тексте. Ведь здесь мы можем опереться на относительно твердую почву фактов лингвистики и поэтики. Не буду вдаваться в сугубо теоретические аспекты, это сделано в специальной работе, вывод которой таков.

Первичным значением «я» поэтического текста является функция (в математическом смысле), значениями которой являются различные говорящие в каждом из возможных миров-контекстов. Исходным, первичным значением «я» является говорящий, но тот, который существует не в реальном мире, а в мире, где поэтическое высказывание было впервые высказано, причем высказано как истинное. А таким миром является поэтический мир текста. (Лишь войдя в этот мир на правах действующего лица, пер-

восказавшим может стать и биографический автор.) Все последующие произнесения этого высказывания — авторские ли, читательские ли — являются актом присвоения и высказывания, и его «я». Все другие «я», и конкретного читателя, и автора, являются метафорическими значениями «я» поэтического текста. Всякий говорящий, произносящий высказывание от своего имени, становится метафорой первосказавшего. Подобно тому, как посредством местоимения «я» говорящий присваивает язык (по Э. Бенвенисту), он же присваивает текст, говорящий обо мне и повествующий мне, кем бы я был в поэтическом мире текста. Присваивая высказывание, я присваиваю и судьбу, пусть это и не биографическая судьба, а судьба, прожитая мною «в уме», в поэтическом мире текста. Повторяя от первого лица слова, уже сказанные до меня, я совершаю межмировое путешествие: из моего мира я переносюсь в мир текста, где занимаю место говорящего — будь то реальный поэт, лирический герой или же персонаж.

Описанная теоретическая ситуация может непосредственно моделироваться в тексте. Так, поэтика ранне-средневековых армянских шараканов (духовных гимнов), особенно покаянных, прямо нацелена на то, чтобы любой произносящий их говорил бы о себе, но при этом уподобляясь сакральному первосказавшему. Но материал этот обширен и малодоступен современному читателю, поэтому я ограничусь одним, но весьма показательным и широкоизвестным текстом: «Гамлетом» Пастернака. Одно это стихотворение не просто наглядно показывает, а именно заставляет почувствовать то, каким образом «я» оказывается многозначным, связывая, объединяя и идентифицируя различных говорящих, существующих и существовавших в совершенно различных, существующих и несуществующих мирах-контекстах.

* * *

«ВОТ Я ВЕСЬ». Этими словами начинается первый вариант «Гамлета» Пастернака (впервые опубликован в «Новом журнале», Нью-Йорк, 1984, № 56, с. 20):

Вот я весь. Я вышел на подмостки.
Прислонясь к дверному косяку,

Я ловлю в далеком отголоске
То, что будет на моем веку.

Это шум вдали идущих действий.
Я играю в них во всех пяти.

Я один. Все тонет в фарисействе,
Жизнь прожить — не поле перейти.

В окончательном варианте это вступление исчезло (как и строка «Я играю в них во всех пяти»), однако сама эта мысль получила куда более впечатляющее, хотя и косвенное выражение. Уже внешнетекстовое обрамление «Гамлета» создает многоликость говорящего: это и биографический автор, Пастернак, и вымышленный автор (текст помещен в «Стихи из романа», который якобы сочинил персонаж романа и воспроизвел повествователь). Наконец, стихотворение называется «Гамлет» и написано от первого лица. Так уже внешнетекстовое обрамление создает цепочку говорящих: Пастернак, говорящий от лица одного из персонажей романа Пастернака, который, в свою очередь, говорит от лица Гамлета.

Эта внешнетекстовая структура принимаемых «я» значений усложняется в тексте. Текст насыщен дейктическими выражениями, то есть такими, значение которых определяется исключительно речевой ситуацией (это слова «я», «ты», «здесь», «сейчас» и т. п.). В данном случае эти выражения осмысляются на основе цитатных отсылок к одному из компонентов контекстного комплекса «кто — где — когда — что сказал». В тексте воспроизводится или само цитируемое / присваиваемое высказывание, или же описываются обстоятельства, гарантирующие истинность этого высказывания в том мире, в котором оно было произнесено. Такие отсылки семантизируют встречающееся в тексте «я», которое всякий раз принимает как минимум два значения (тот, кто сказал тогда — тот, кто говорит сейчас).

Цитата может задаваться не только путем воспроизведения сказанных некогда слов, но и посредством указания на обстоятельства, контекст первосказания. Такими контекстными координатами, по которым восстанавливается высказывание, являются: говорящий, адресат, место и время.

В первой строфе «Гамлета» описывается то, что можно назвать кон-

текстной координатой места говорения актера, которое в перспективе, под воздействием последующих строф, осмыслится и как место говорения Христа:

- 1 Гул затих. Я вышел на подмостки.
- 2 Прислонясь к дверному косяку,
- 3 Я ловлю в далеком отголоске,
- 4 Что случится на моем веку.

В строке (1) «я», под воздействием заглавия, указывает на актера (поскольку «я вышел на подмостки»), который исполняет роль Гамлета. Однако уже в (2) пока незаметно вводится место говорения Христа (Христос трижды выходил из горницы, где происходила тайная вечеря, отсюда — непонятный для первого контекста «дверной косяк»). Но пока еще семантизация «я» идет по иному пути: расширению области значений «я». В строках (3—4) «я» — это не столько актер, исполняющий роль Гамлета, сколько актер, «слившийся» с ролью и уже сам Гамлет. А ввиду отсутствия какой-либо контекстуальной конкретизации — это в потенции любой горящий: повторить эти слова, но имея в виду только и только самого себя, может каждый.

Во второй строфе «я» принимает те же значения, но их иерархия другая:

- 5 На меня наставлен сумрак ночи
- 6 Тысячью биноклей на оси.
- 7 Если только можно, авва отче,
- 8 Чашу эту мимо пронеси.

Строки (7 — 12), в отличие от всех других, представляющих речь, обращенную то ли к самому себе, то ли к любому, кто слышит, являются внутренней прямой речью, обращенной к конкретному адресату. Это, так сказать, прямая речь в квадрате. При этом строки (7 — 8) представляют почти дословную присвоенную цитату сказанного Христом скорее всего по Евангелию от Марка: «Авва Отче! Все возможно тебе; пронеси чашу сию мимо» (XIV, 36). Контекст этой цитаты был косвенно указан ранее: в (2) указывалось на место (дверной косяк) ее первосказания, а в (5) — время (ночь). Однако буквально прочитанная метафорическая строка (6) возвращает нас к театральному контексту. Метафорическое описание обстоятельств и места говорения Христа в (5 — 6) совпадает с буквальным описанием го-

ворения Гамлета-актера, а адресат слов Христа, «Отче», пославший сына исполнить свой замысел, напоминает об отце самого Гамлета.

Как видим, вторая строфа построена так, что семантика «я» последовательно колеблется между тремя значениями: «я» — Гамлета, «я» — Христа, «я» — Гамлета-актера. Об «актерской» ипостаси «я», о неслучайности ее связи с двумя другими будет сказано ниже, а пока, отвлекшись от анализа текста, напомним, что уподобление Гамлета Христу было глубоко мотивированным. Так, в «Замечаниях к переводам из Шекспира» (их первая редакция датируется 1946 годом, то есть тем же, что и «Гамлет») Пастернак несколько раз уподобляет Гамлета Христу, хотя — и это очень существенно — прямых сравнений он не использует. Ср.: «... Гамлет отказывается от себя, чтобы «творить волю пославшего его»... Гамлет — драма высокого жребия, заповедного подвига, вверенного предназначения. Это самые трепещущие и безумные строки (монолог «Быть или не быть». — С. 3.), когда-либо написанные о тоске неизвестности в преддверии смерти, силою чувства возвышающиеся до горечи «Гефсиманской ноты». Уподобление достигается тем, что теми же словами, что были сказаны о Христе, можно сказать и о Гамлете («творить волю пославшего его»), а сказанное о себе Гамлетом (монолог «Быть или не быть») уподобляется сказанному о себе Христом («Гефсиманская нота»). Этот же механизм, но представленный уже не в описательной, а в перволичной форме, лежит в основе разбираемого стихотворения.

Но перейдем к третьей строфе, где семантика «я» определяется уже не координатой места, а координатой адресата, «ты», и времени, «сейчас»:

- 9 Я люблю твой замысел упрямый
- 10 И играть согласен эту роль.
- 11 Но сейчас идет другая драма,
- 12 И на этот раз меня уволь.

Насыщенность строфы дейктическими и указательными выражениями («эту роль», «другая драма», «на этот раз») делают ее семантику подчеркнутую ситуативной: ни одна лексическая единица этой строфы не может быть понята вне контекста высказывания. Но вместе с тем сам коммуникативный контекст высказывания оказы-

ваается многозначным. Сама строфа, представляющая прямую речь, обращенную к конкретному адресату, продолжает предшествующую строфу, поэтому она должна восприниматься как продолжение присвоенного высказывания Христа. Однако театральная лексика требует идентификации «я» с актером, играющим **эту** роль (чью — Христа? Гамлета?) в тот момент, когда идет **другая** драма (какая — «Гамлет» Шекспира? драма Христа?). «Сейчас», указывая на одновременность идущей драмы и имеющего место говорения, показывает их независимость: высказывание имеет место одновременно с **другой** драмой; стало быть, это независимые речевые акты. Примечательна и лексическая многозначность слов «замысел», «роль», «драма», обладающих как буквальным, «театральным», так и переносным, «жизненным» значениями. В тексте реализуются оба эти значения, и посредством такой неразрешаемой многозначности театральная ситуация осмысливается как жизненная, а жизненная — как театральная.

Дело в том, что строфа (III) вводит нового говорящего, становящегося новым значением «я» третьей строфы: Пастернака-поэта. Реальный автор может «войти» в собственный текст, только став его элементом (в буквальной форме это проявляется в акростихе, когда имя автора становится просто-напросто элементом текста). Пастернак-поэт может стать значением «я» точно так же, как ранее Гамлет и Христос — путем отсылки к некогда сказанным словам. Строфа III автоцитатна — не потому, что здесь можно найти буквальные лексические повторы, а потому, что она воспроизводит очень характерный для всего творчества Пастернака мотив. Именно поэтому невозможно определить, в каком именно — буквальном или переносном — смысле употреблены Пастернаком слова «замысел», «роль», «драма», ибо в его стихах мы неоднократно находим метафоры «жизнь — театр», «герой — актер», «Бог — режиссер» и т. п. За ними стоит фундаментальное для Пастернака представление о единстве жизни и искусства (ср. раннюю статью «Несколько положений») и, в частности, идея о единстве театральной и жизненной роли.

Приведем лишь наиболее показательные примеры:

Так играл пред землей молодою
Одаренный один режиссер,
Что носился как дух над водою
И ребро сокрушенное тер.
И, протискавшись в мир из-за дисков
Наобум размыченных светил,
За дрожащую руку артистку
На дебют роковой выводил.

(Мейерхольдам, 1928)

То же бешенство риска,
Та же радость и боль
Слили роль и артистку,
И артистку, и роль.

(Вакханалия, 1957)

В последнем стихотворении, так же как и в «Гамлете», стоят в одном ряду жизненные реалии и театральные аксессуары:

К смерти приговоренной
Что ей пища и кров,
Рвы, форты, бастионы,
Пламя рефлекторов?

Для понимания глубинных основ настойчиво возникающего у Пастернака совмещения мотивов гибели и актерской игры очень существенным оказывается обращение к стихам, написанным задолго до «Гамлета»:

Но старость — это Рим, который
Взамен турусов и колес
Не читки требует с актера,
А полной гибели всерьез.
Когда строку диктует чувство,
Оно на сцену шлет раба,
И тут кончается искусство,
И дышат почва и судьба.

(О, знал бы я..., 1931)

Последовательно проведенная в «Гамлете» идея о слитности актерской игры и подлинного умирания, как показывает последнее стихотворение, возникла у поэта явно не без влияния его двоюродной сестры, О. М. Фрейденберг. Обращение к ее ставшей классической книге «Поэтика сюжета и жанра» (Л., 1936) неожиданно помогает увидеть куда более тесную связь между стихотворениями «О, знал бы я...» и «Гамлет» и уяснить причину спаянности между «я» актера и «я» Христа.

Исследовательница усматривала наиболее архаичные формы возникшего из обряда жертвоприношения античного театра не в греческой,

а в хронологически более поздней культуре Рима. Актер, согласно О. М. Фрейденберг, есть олицетворенная «метафора смерти и воскресения». Цитаты из «Поэтики сюжета и жанра» помогают четче уяснить и общую идею стихотворения «О, знал бы я...», и тот подтекст, который лежит за словами «Рим» и «раб»:

«Участниками пантомимы были и здесь приговоренные к смерти преступники, причем эти пантомимы и являлись их действенным умиранием на глазах у зрителей... Смерть героя, которой пьеса заканчивалась в больших страданиях и на самом деле (не отсюда ли «полная гибель всерьез»? — С. З.), и раздетый актер, обливаясь кровью, сжигался, умерщвлялся, распинался, разрывался зверями тут же на сцене. Вот формы сценических игр, в которой смерть становится предметом зрелища, а покойник (тот, кого ожидает смерть, приговоренный) — актером. Римский актер был «смертью» и уподоблялся «рабу»: актерское ремесло приносило бесчестие и влекло полную потерю прав, — солдата, ставшего актером, предавали смерти, как если бы он продался в рабы» — стр. 156.

«В каждом из них (т. е. протагонистах драмы, это умирающие и воскресающие боги, среди которых О. М. Фрейденберг в соответствии с тогдашней научной традицией упоминает и Христа. — С. З.) — метафорический двойник актера... Недаром протагонистом театра является бог смерти и воскресения Дионис: жертва тождественна актеру; и играть, как учит Рим, — это значит умереть и воскреснуть» — стр. 197.

Думаю, приведенная цитата настолько созвучна обоим стихотворениям, что в дополнительных комментариях не нуждается. Правда, остается еще объяснить, каким образом опубликованная в 1936 г. монография могла явиться подтекстом написанного в 1931 г. стихотворения. В обширной опубликованной переписке Пастернака с Фрейденберг мы не нашли никаких фактических сведений, которые могли бы это объяснить. Однако, учитывая столь многолетние и тесные связи между Пастернаком и Фрейденберг, нет ничего неправдоподобного в предположении, что Пастернак мог быть знаком с рукописью: ведь сама концепция разрабатывалась О. М. Фрейденберг начиная с двадцатых годов.

Однако для разбора «Гамлета» этот вопрос не имеет никакого значения: обращаясь к «Поэтике сюжета и жанра», мы лишь узнаем, какой именно фактический материал послужил Пастернаку опорой для его глубоко личной идеи о тождестве «жертвы и актера», о тождестве актерской игры (читай — искусства) и судьбы, умирания и воскресения:

Когда строку диктует чувство,
Оно на сцену шлет раба,
И тут кончается искусство,
И дышат почва и судьба.

В «Гамлете» раб заменяется «про-тагонистом театра, Богом смерти и воскресения». Третью строфу «Гамлета» можно рассматривать как обобщенную сборную цитату из Пастернака, присвоенную говорящим текста. При этом обращение к предыдущим контекстам позволяет четче увидеть логику перехода к четвертой строфе. Она опровергает намечаемую в предыдущей возможность рассогласования между ролью и актером, драмой и говорением («но сегодня ты меня уволь»):

13 Но продуман распорядок
действий.
14 И неотвратим конец пути.
15 Я один, все тонет в фарисействе.
16 Жизнь прожить — не поле
перейти.

«Я» четвертой строфы в наименьшей мере семантизируется контекстом. Если в предыдущих строфах мы могли выделить конкретные значения, принимаемые «я», хотя и были не в состоянии остановиться лишь на одном из них, то здесь мы просто не в состоянии ответить на вопрос — кто же тот «я», от лица которого написана строфа. От предшествующих контекстов говорения Гамлета и Христа остается только лишь лексический след («действий», «фарисействе»). В (13 — 15) выражается такое состояние дел, которое имеет место во всех ранее выделенных мирах-контекстах. Заключительная строфа — это высказывание, лишенное контекстных опор и, видимо, не нуждающееся в них. Она описывает ситуацию, в которой оказывается каждый из предшествующих говорящих. Но не только. Последняя строка позволяет «войти» в текст, стать его персонажем любому.

Высказыванию «жизнь пройти — не поле перейти» принадлежит совершенно особая роль. Это — расхожая, тривиальная, почти ничего не говорящая истина, казалось бы неуместная в данном тексте. Но это как раз та тривиальная и потому неопровержимая истина, с которой согласится каждый и которая говорит о каждом. Если (13 — 15) выражают пропозиции, которые имеют место в мирах говорящих текста (а это — особо отмеченные творческие личности), то (16) имеет место в мире любого человека. Вспомним, что (16) также является цитатой, но цитатой безличной, бесконтекстной — это пословица, которая принадлежит не конкретному говорящему, а языку.

Здесь уместно сослаться на специальное исследование В. С. Баевского, вывод которого таков: «На фоне большого количества лексикализованных сочетаний, идиом, клишированных выражений поражает ничтожное пространство пословиц и поговорок, крылатых слов. Всего в стихах и прозе нами выявлено 53 единицы: семь в лирике, 1 в поэме, 39 в прозе. Небезынтересны и особенности введения этих единиц в текст: «Часто употребление пословиц обставлено специальными приемами, указывающими на ее чуждость общему строю речи, авторскому «я». . . Они лишь при определенных условиях, с помощью сложных приемов инкорпорируются в творимую, неготовую, становящуюся художественную речь Пастернака. . . Но вследствие своей редкости исследуемый класс обладает высокой значимостью» (см. сборник: «Литературный процесс и развитие русской культуры XVIII—XX вв.», Таллин, 1985, с. 55—57. Пользуюсь случаем принести В. С. Баевскому благодарность за сведения о первоначальном варианте «Вот я весь. . .»).

Как видим, (16) резко выделяется не только в тексте, но и в поэзии Пастернака в целом. Это один из редчайших случаев употребления Пастернаком пословицы, безличного и бесконтекстного высказывания. Но здесь нет оснований говорить о его «чуждости общему строю речи, авторскому «я». Посредством (16) в текст вводится безличный носитель языка, человек вообще, чье высказывание присваивает носитель языка и с кем в данной строфе он идентифицирует

себя. Но носитель языка — это и есть любой потенциальный читатель, любой, кто способен прочитать текст.

Так в тексте оказывается заключен не только биографический автор, но и любой потенциальный читатель текста. А это именно те значения «я», которые рассматривались нами как основные метафорические значения «я» любого лирического текста, а в данном случае оказались его первичными значениями. Семантика «я» оказывается межмировой линией, связывающей в различных мирах / контекстах различных индивидов, причем все эти миры могут быть описаны в единых выражениях и в этом смысле, удовлетворяя одним и тем же условиям истинности, являются одним и тем же миром: все, что можно сказать об одном мире, можно сказать и о другом. Особенностью разобранных стихотворения является то, что в каждом из миров «я» выделяет единственный индивид («я один»), который каждый раз говорит о всех своих двойниках в других мирах и от лица этих двойников («вот я весь», «это шум вдали идущих действий, я играю в них во всех пяти»). Евангельский мир-контекст оказывается в то же время миром-контекстом шекспировского «Гамлета» и творчества Пастернака, причем в этот же мир-контекст может войти любой читатель этого текста. Любой читатель актом своего прочтения предназначен сыграть (сыграть в пастернаковском смысле) роль многоликого говорящего текста.

* * *

Анализом «Гамлета» я хотел показать, какие языковые механизмы лежат в основе присвоения чужого «я», при идентификации себя с кем-то, с кем ты нетождествен физически, но кем ты становишься в момент понимания и осознания текста. «Чужое» слово становится «своим», и ты, повторяя чужие, но присвоенные тобою слова, становишься в этот момент первосказавшим.

Сейчас самое время вернуться к сказанному вначале, однако парадокс заключается в том, что для обобщения всего сказанного наиболее уместными окажутся слова, но не мои, а уже сказанные одним из ведущих современных герменевтиков, Полем Рикером. В основе его концепции

также лежит заимствованное у Эмиля Бенвениста понятие «присвоения». Так что мне остается повторить сказанное им (опускаю требующие специального разъяснения термины).

Что должно быть понято и присвоено? Не намерения автора, якобы скрытые в тексте. И не историческая и культурная ситуация, общая для автора и его читателей-современников. И даже не их самосознание и осознание себя как некоего историко-культурного феномена. Все это — компоненты понимания, но в первую очередь присвоению подлежит значение и е самого текста, которое следует рассматривать не как заключенное в тексте, а находящееся перед ним. Значение текста есть не что иное, как

некая сила, благодаря которой открывается мир, создаваемый референцией данного текста. И если мы с чем-то идентифицируем себя, то это не внутренняя жизнь некоторого «иного», а открытие иного взгляда на мир. Присвоение в этом смысле — это не род владения, а только новая самопроекция себя на мир, это расширение горизонта бытия и новый способ существования в мире.

Инструментом подобного присвоения оказываются лингвистические потенции местоимения «я» — слова, которое может обозначать всякого, но в каждый конкретный момент его употребления только и только одного, того, кто говорит «я».

К НАШИМ ИЛЛЮСТРАЦИЯМ

Выставка «Искусство и революция», состоявшаяся в Художественном музее Латвийской ССР, объединила имена художников с различными жизненными судьбами. Но при всем различии биографии и творческих путей одно свойство присуще всем экспонатам выставки — в каждом из них ощущается Время. Иногда внешние события эпохи прямо становятся темой художника. Таква графика Василия Николаевича Масютина [1884—1955], уроженца Риги, связанного с Ригой многими нитями (к его творчеству наш журнал вскоре предполагает обратиться специально). Таковы и работы Густава Густавовича Клуциса [1894—1944], которые для нашего ретроспективного взгляда становятся эмблемами эпохи (так, сценограф Март Китаев «цитирует» Клуциса с афише к спектаклю Рижского Молодежного театра «Завтра была война»). Но и в других вещах мы не можем не различить сегодня поступь Времени. Академический портрет Теодора Залькална работы Павла Александровича Шиллинговского [1881—1942] выполнен в ту пору, когда латышский скульптор Залькалн работал в Петрограде над памятниками-бюстами Чернышевскому и Бланки, а сам Шиллинговский создавал портрет Льва Троцкого. Ломка времени ощущается и за рамками натюрморта Василия Ивановича Шухаева [1887—1973], будущего эзка, и в цирковых фантазиях Ивана Альбертовича Пуни [1894—1956], соратника Татлина и Малевича. Один из самых запоминающихся экспонатов — автопортрет Александра Давыдовича Древиньша [Древина] [1889—1938], пожалуй самого выдающегося из художников-латышей, работавших в русском искусстве, испытавшего прижизненно, а отчасти и посмертно, все, что полагалось испытать объявленному в ту эпоху «формалистом».

К НАШИМ ИЛЛЮСТРАЦИЯМ



Герасим Лугин. Снимок рижского журналиста А. К. Перова. Публикуется впервые.

О ГЕРАСИМЕ ЛУГИНЕ

Рижский литератор Г. Лугин звался в быту Герасимом Александровичем Левиным (не путать с газетчиком Габриэлем Левиным!). Родился он в 1900 году в тогдашней Либаве (ныне Лиепая).

Годы первой мировой войны и начало 20-х годов он провел в России, потом вернулся на родину, в Латвию («Если жизнь, как Балтика родная, — чуть горчит соленая, — свежа . . .»), не отказавшись от советского гражданства, то есть до последнего дня имея советский паспорт.

Писал Г. Лугин мало, кормясь литературной поденщиной. Переводил титры для кинофильмов. Рецензировал книги для издательства «Граматы драугс». Под своим именем выпустил переводы: «Мансарда снов» Ремарка, три романа Эдгара Уоллеса, «Те, кого предали» П. Лампеля и «Любить!» Питигрилли. То есть те книги, которых требовал рынок.

Занимался переделкой литературных произведений для сцены, в частности, им была сделана инсценировка «Двенадцати стульев» для Русского театра.

Сотрудничал в левом журнале «Норд-Ост», большинство членов которого в той или иной мере были связаны с подпольем. Заслуживают внимания выступления Г. А. Левина в латышскоязычной печати. В журнале «Даугава» он напечатал обзор русского советского театрального искусства [1928, № 8, 11; 1929, № 3] и интересную статью «Возделыватели русского слова. Мандельштам, Пастернак, Сельвинский» [1929, № 9].

В 1930 году в типографии рижского издательства «Граматы драугс» была напечатана для берлинского издательства «Petropolis» книга его стихов «Тридцать два» (по числу стихотворений). Сборник завершился стихотворением, посвященным возвращению автора в страну своего детства:

Безрадостней
И все неповторимей, —
{Придет пора и навсегда сплывут}
Стихи и дни,
И дорогое имя,
И неба талого
Осенний изумруд.

В дар
Перламутровым сыпучим дюнам
Уж не снесешь
Томительную лень, —
Я отболел
И светом лунным,
И лирикою,
Сбитой набекрень.

Я отболел
Зеленоватой хвоей
И кэпстен юности
Развеялся дымком, —
Так вот оно
Единственно живое,
Что я принес в свой отчий дом.

О Балтика! . .
Разрозненные дни ей
Я нес,
А с пригоршнею дней
И то,
Что творческой неврастении
Незаменимой было
И нежней.

Любимая!
Понять вы захотите ль!
Услышите ли, подадите ль весть!
Завинчен наглухо
Тоски глушитель
И перебойней
Сердца взрывчатая смесь.

Неповторимый день придет, —
С улыбкою веселой
Вы вспомните,
Как холодела нам заря, —
Любимая! —
И станут эти смолы
Осколками
Лирического янтаря.

Книга была встречена критикой сдержанно. В частности, Ник. Оцуп отозвался о ней в парижском журнале «Числа» (1931, № 5) так:

«Поэты якобы акмеистической природы, верные и посейчас друзья Гумилева, не сразу, но все же отчетливо поняли, что стихи живут, поскольку в них удержалось что-то от живого дыхания и что все остальное — литература. Литература и все заветы акмеизма и Цеха поэтов; все культурные и умные наставления Гумилева бесплодны для простого, в стихах или прозе, выражения и отражения своей жизни. Лугин этого не понял. Он предпочитает по тем же хорошим рецептам составлять достаточно умелые и грамотные строчки, из которых ничего нельзя сказать об авторе. Лирика Лугина непоправимо литературна».

В рижском русском журнале «Мансарда» на сборник откликнулся Игорь Чиннов (впоследствии видный поэт русской эмиграции, ныне еще здравствующий): «В книге много «сделанных» стихов, это не плохо, но это не те «царственные» стихи, что Теофиль Готье называл вечными. Может быть, странно это «Безрадостней», такое есенинское: разве так можно теперь писать!»

Сборник интересен главным образом посвящениями, упоминанием имен и литературных примет своего времени. Именно тем, что лежит вне поэзии и является основой литературного факта.

Но для отражения литературного быта служит единственно проза. И поэтому куда больший интерес вызывает следующая книга Г. Лугина «28° 14'30" восточной долготы» [1933].

В название книги взяты координаты латвийско-советской границы. Украшали книгу иллюстрации Юрия Рыковского и Романа Суты. Книга включала в себя фрагменты широко задуманного повествования о прибалтийском просветителе Гарлибе Меркеле. Позднее другие фрагменты подготовленного к печати романа (судьба рукописи неизвестна) публиковали в газете «Сегодня», и, может быть, стоит подумать о перепечатке этих фрагментов в современном издании. Кроме того, в книге были очерки о родной Г. А. Левину Лиелае и мемуарный этюд «Московские ночи», ныне предлагаемый вниманию читателей.

«В этих очерках, в рассказах Г. Лугина большая ясность, временами выпуклость, везде — быстрые штрихи. Он легко схватывает тона голоса, фигур, хорошо запоминает, в его передачах звучит еще и притушенный лиризм. Эту воздушную печаль на Г. Лугина навевают умирающие города, призраки, видения далеких, отцветших лет, и тогда оживают люди прошлого . . .»

В Меркеля автор вложил много нежности, осветил его ласковым светом, написал эту повесть о нем просто, искренне, местами трогательно . . .»

Но наряду с этим Пильский отмечает «отсветы, отследы западных писателей, чужих влияний и веяний. Им он подчиняется напрасно. В литературном и стилистическом смысле Эмили Людвиги не прекрасны. Русское ухо не терпит жеманности, хороший вкус враждует с гримасой и модничаньем, изломами и словесными вывертами. В простоте заключена большая сила, могущественная и внушительная . . . Лучше собственное некрасивое лицо, чем чужая маска и чужой наряд» («Сегодня», 1933, № 267).

С установлением Советской власти в Латвии Г. Лугин готовился принять участие в новом литературном процессе. Так, в альманахе «Советская Латвия» [1940, № 1] появился его перевод стихотворения Валдиса Лукса «Утро 26 октября 1917 года» («Утреннею мглой Нева дымится . . .»).

Характерно, что в приказе № 5 от 10 июля 1940 года Арвид Григулис, единолично решавший в ту пору, кому быть, а кому не быть во вновь создаваемом Союзе работников печати (прообразе нынешнего Союза писателей) предварительно назначив членом этого Союза себя, в приказе от 4 июля принял в Союз и Г. Лугина.

Впрочем, этот факт мало что изменил в судьбе Г. Лугина. Вскоре он вместе с исключенными из Союза И. Гутманом, Б. Харитоновым, М. Мильрудом, Г. и Э. Махтусами, А. Перовым и др. был арестован и поехал в восточнее 28° восточной долготы, где след его и сгинул.

Вот, собственно, и все, что спустя полвека известно нам о краткой жизни Герасима Лугина.

Юрий АБЫЗОВ

МОСКОВСКИЕ НОЧИ

Раскаленные дни знойного июля. Москва голодного года, осмьмушки хлеба в день и обилия стихов¹. На углу Тверской и Георгиевского переулка — кафе, на вывеске три буквы: В. С. П. — «Всероссийский союз поэтов», — Парнас распивочно и навывнос.

В тот голодный год в одной лишь Москве было зарегистрировано свыше четырехсот поэтов. Некогда в Союзе поэтов главенствовал маститый, переживший свою музу, оказавшийся великолепным администратором, Валерий Брюсов, — позднее в кафе верховодил орден имажинистов, затем... всех не перечислить. В двадцать первом году председателем в Союзе Рюрик Ивнев². С вечно бегущими худыми пальцами, сбившимся набок галстучком, с невидящими пустыми глазами. Надломленным голосом шаманил он, читая стихи о Рязани и о самосожжении. И там же возглашал здравицу имажинизму, чтобы на следующую день отречься от него, от своих стихов, от себя. Имажинистов отлучение Ивнева не смущало, — шутивым посланием прощался с ним глава ордена имажинистов Вадим Шершеневич³, адресуя свое послание в... Троице-Сергиевскую лавру, его преосвященству Рюрику Огневичу Ивневу.

Потом Вадим Шершеневич стал сдержаннее и суше. И лишь по-прежнему был ироничен. Героиня «Циников» Мариенгофа⁴ кончает жизнь самоубийством. Прощается с жизнью и с мужем по телефону и потом — после того как прогремел смертельный выстрел — просит подкрасить ружьем губы.

¹ В Москве Г. А. Левин бывал короткими наездами из Саратова. В романе Льва Гумилевского «Эмигранты» (1922) Г. А. Левин выведен под именем студента Прейса, изучающего рифмы у Пушкина и печатающего под псевдонимом революционные стихи в саратовских газетах. На неопубликованную работу Г. А. Левина о рифме Бальмонта ссылался В. М. Жирмунский (Жирмунский В. Теория стиха. Л., 1975, с. 616).

² Рюрик Ивнев — псевдоним Михаила Александровича Ковалева (1891—1981).

³ Вадим Габриэлевич Шершеневич (1893—1942).

⁴ Анатолий Борисович Мариенгоф (1897—1962) — соратник Есенина и Шершеневича по имажинизму.

Эта смерть — не выдуманная смерть: так умерла жена Шершеневича, красивая, обаятельная киевлянка Юлия Дижур. Так же позвонила по телефону и так же...⁵

В ту пору был иным и Есенин. Есенин уехал с Дункан в Америку, писал отчаянные письма, был зол, пьян, резок. И таким же пришел, — порвав с Дункан и неожиданно возвратившись в Москву, на открытие, вернее генеральную репетицию, в театрик Николая Агнивцева «Ванька-встанька». У Агнивцева театр не вытанцовывался, и это чувствовали и он, и актеры, и публика, состоявшая на сей раз из собратьев по веселому агнивцевскому ремеслу. И в антракте по театру запорхало крылатое словечко: Николай Агнивцев переименовывает — еще до открытия — свой театр. Отныне «Ванька-встанька» — «Николайка-закрывайка». Пришел на открытие театра и Есенин. Агнивцев бросает в зрительный зал Маяковскому замечание о том, что теперь ему, Маяковскому, пора отправляться в заграничное путешествие с Айседорой. Маяковский лениво громыхает в ответ:

— Нет, больше Айседураков не найдется. Был один, да и тот весь вышел.

— — —

В «Кафе поэтов» мэтрствовал Сергей Бобров⁶, поэт-эрудит, литературный неудачник, специализировавшийся на цукании молодых поэтов. Желчи в Боброве было много, и если после бобровской дружеской критики молодой поэт не давал себе слова бросить писать, то уж ничто не могло спасти несчастного любителя стихов от галлюцинирующего шаманства, от прилипчивой болезни, которую многие в ту пору склонны были именовать поэзией.

Впрочем, у Боброва, у этого царя Ирода российского Парнаса, было одно положительное свойство — бездонная литературная память. Пытаясь устано-

Юлия Сергеевна Дижур покончила с собой в 1927 году.

⁶ Николай Яковлевич Агнивцев (1888—1932), поэт и кабарежный драматург.

⁷ Сергей Павлович Бобров (1889—1971).

вить чье-либо влияние, он извлекал тысячи уличающих примеров, цитировал множество различных поэтов. Все когда-либо читанное хранилось им в глубинах памяти и в соответствующую минуту извлекалось на свет божий. Но этот дар был роковым даром для Боброва-поэта. Все прочитанное ложилось тяжелым грузом на каждую написанную им строку. Так Бобров-поэт тщетно боролся с Бобровым-эрудитом, Бобровым-критиком. Пока кто-то не пригвоздил его метким определением: «мечтательная гиря»!

И там же, в «Кафе поэтов», рос и креп литературный дар некоего Моти Р.⁸ Отец Моти арендовал буфет в Союзе поэтов. Это ему должны писатели, это он подкармливал их пшеничными котлетами с чевичинным гарниром. Мотя любил экзотику и писал стихи на талмудические темы. Потом, став постарше, написал роман «Минус шесть».

В июле приехал в Москву Гумилев⁹. Ранее побывал в Москве Блок, поэт Петербурга, впервые в этом году читавший Москве свои стихи¹⁰. Блок читал в аудитории Политехнического музея. Никогда еще в этом большом и емком зале не было такого большого скопления людей. И лишь впоследствии этот зал вместил еще большее количество народу — было это, когда судили Петрова-Котова, извозчика, лишившего жизни тридцать шесть человек.

Гумилев читал свои стихи в «Кафе поэтов» и вышел из этого испытания с честью. Читал, как обычно, — чуть глуша голос, придавая ему особую торжественность. Скрестив руки, вернее обхватив локти и чуть приподняв плечи, бросал он с эстрады свои строки. Стихи врезались в память, подчиняли себе, смиряли буйную вольницу презентистов, эгоцентристов, евфуистов и ничевоков, разбивших в этом кафе свое станове.

Толпившиеся на этом проходном дворе богемы литературные школяры, хоть и были отрицателями, но достигли определенного возраста и Гумилева слушали внимательно. Гумилев читал «Молитву мастеров»:

Храни нас, Господи, от тех
учеников,
Которые хотят, чтоб наш
убогий гений
Кощунственно искал все
новых откровений.

И далее:

Что создадим мы впредь,
на это власть Господня,
Но что мы создали, то с нами
посегодня.

Прочтя «Молитву», Гумилев сухо отклонил приглашение послушать ничевоков и направился к выходу. Ему и его спутникам следовало подумать об ином — где ночевать?

Беседуя о слышанном, перебрасываясь словами, пробирались мы к выходу под необычный аккомпанемент. Кто-то неподалеку — должно быть, «про себя», но вслух — читал стихи Гумилева. Одно стихотворение сменялось другим. Набегавшие валы лирической пены казались декламационной фантазмагорией.

Стихи Гумилева читал не бледный юноша, не литературный денди, не истомленная ночными бдениями девушка. Стихами Гумилева опянялся мужчина в кожаной куртке и в галифе казенного сукна. Крепко пришитая к плечам голова, крупные черты лица, обрамленного черной бородой, чуть кривоватые под тяжестью тела мускулистые, в обмотках, ноги. Лицо библейского склада.

— Это что за Самсон? — вырвалось у Гумилева.

— Вас не удивляет, что я читаю ваши стихи? — спросил незнакомец.

— Нет, — церемонно ответил Гумилев.

— Мне запомнились все ваши стихи, — расплылся в улыбку незнакомец.

— Это меня радует, — и Гумилев, прощаясь, протянул знакомцу руку.

Тот, по-прежнему просто, пожимая протянутую руку, называет себя:

— А я Блюмкин¹¹.

Имя вызвало к жизни ключья воспоминаний о событиях и днях.

⁸ Матвей Давидович Ройзман (1896—1973) — автор воспоминаний о Есенине.

⁹ Гумилев был в Москве проездом из Крыма в Петроград. По сообщению газеты «Новый путь», выходившей в Риге, он читал стихи в кафе Союза поэтов и в Союзе писателей.

¹⁰ Блок выступал в Москве в мае 1920 г. и в мае 1921 г.

¹¹ Яков Григорьевич Блюмкин (1898—1929), левый эсер, состоял на службе в ВЧК, по решению ЦК своей партии 6 июля 1918 г. убил германского посла, скрывался, в 1919 г. добровольно сдался ВЧК, был амнистирован, впоследствии служил в ОГПУ и возглавлял охрану Троцкого, после высылки которого был расстрелян.

ва¹⁷. Он принес с собою мистический экстаз и большую музыкальную культуру. До войны учился в консерватории. Война умчала его в другие выси, — он проделал ее боевым летчиком. В 1918 году, так же как и его ровесник Сергей Соловьев, принял священнический сан, ушел от всего мирского, молился в маленькой церкви близ Арбата. Обо всем этом узналось под утро. В пустынные предутренние часы шли по бульварному кольцу и читали стихи. Обесцветенное предрассветными лучами лицо Бруни казалось еще бледнее, чем обычно. И большие, глубоко впавшие глаза на восковом, казалось, неживом, лице, в окладе каштановых мягких прядей.

¹⁷ Сергей Михайлович Соловьев (1885—1942), которого Андрей Белый в стихах называл «провидец и поэт, ключарь небес, матерый мистик», принял духовный сан в 1915 году. В начале 1920-х годов перешел в католичество (с 1926 г. — епископ).

Через год снова встретились с ним. В маленькой комнатушке застал его за необычным делом. Склонившись над табуреткой, осторожными, мягкими движениями макал он кисточку в жидкую краску и расписывал деревянные ведеца.

Замерла в воздухе кисточка. Виновато развел руками: измалался, не могу поздороваться, — и, чуть улыбаясь, добавил:

— Да вот для ребятишек игрушки расписываю. На продажу.

И пояснил:

— Не смог примириться с Живой Церковью и оставил приход.

Покинув приход, занялся изготовлением игрушек и мечтает об отъезде в Козельск. Там есть старая церковь, — там он будет далек от слов, казавшихся лирикой и жизнью.

Публикация и примечания
Романа ТИМЕНЧИКА



Павел Шиллинговский. Портрет Т. Залькална. 1918 год

«Я ДРУЖБОЙ БЫЛ, КАК ВЫСТРЕЛОМ, РАЗБУЖЕН...»

(ОБ ОДНОМ ИЗ ДРУЗЕЙ О. МАНДЕЛЬШТАМА)

Речь идет о Борисе Сергеевиче Кузине (1903—1973), ученом-энтомологе, докторе биологических наук, последние 20 лет жизни работавшем в Институте биологии внутренних вод АН СССР («Борок»).

В заглавии — строка из стихотворения О. Мандельштама «К немецкой речи», написанного в 1932 году и опубликованного тогда же с посвящением Б. С. Кузину.

Их дружба была недолгой едва успели познакомиться, как оказался арестован сначала Кузин, а затем и Мандельштам. Тем не менее краткий период их непосредственного общения имел на Мандельштама серьезное влияние «Личность его, — писал поэт в 1933 году М. Шагинян, — пропитана и моя новенькая проза, и весь последний период моей работы. Ему и только ему я обязан тем, что внес в литературу период «т. н. зрелого Мандельштама».

Хотя воспоминания Кузина о Мандельштаме (частично опубликованные в журнале «Вопросы истории естествознания и техники», 1987, № 3) дают представление о внешнем строе их общения, хотя собственные признания Мандельштама приоткрывают существо их дружеских бесед, — многое осталось (и остается — это очевидно) за пределами нашего знания.

Можно, например, лишь догадываться о том, как кузинская непримиримость ко лжи и фальши («его постоянно таскали, потому что он отказался стучащить», — вспоминала Н. Я. Мандельштам) повлияла на гражданскую позицию Мандельштама. Полагаясь на собственные признания поэта о том, как они вместе «раздирали идеалистические системы на тончайшие материальные волоконца и вместе смеялись над наивными, грубо-идеалистическими пузырями вульгарного материализма», можно представить себе своеобразную диалектику природы и жизни, которую выработывали друзья в совместных беседах.

Дружба Кузина и Мандельштама была дружбой поэтов — Кузин с 1930-х годов и до конца жизни писал стихи, в которых можно уловить веяния мандельштамовской поэтики, ее напряженного метафорического строя, и отражение его неуступчивых, уверенных в своей абсолютной правоте моральных принципов.

С этими стихами Кузина мы хотим познакомить читателей — при жизни ученый их никогда не публиковал.

Кроме того, в 50—70-е годы Кузин написал множество иронических стихов, зачастую по особенностям лексики не подходящих для печати («в шутках Кузина всегда было нечто буршевское», — вспоминала Н. Я. Мандельштам) — мы отобрали из них самые корректные. Подобны им и прозаические сочинения Кузина, остротасатирического плана, одно из которых также включено в настоящую подборку.

Тексты печатаются по авторским подлинникам, хранящимся в личном архивном фонде Б. С. Кузина в Отделе рукописей и редких книг Государственной публичной библиотеки им. М. Е. Салтыкова-Щедрина в Ленинграде

* * *

Звезды с крысиным сбегаются писком
На маловодной зари водопой.
Книги сжигают по ябедным спискам.
Шепотом люди о самом о близком,
Ставни закрыв, говорят меж собой.

И никогда не узнают потомки
Слов отреченья в чугунной ночи.
Солнце в кутузке, и совесть в котомке...
Шорохи... Тайна... Потемки, потемки...
Слышишь ли? Дышишь ли?.. Тише! Молчи!
янв 1938

* * *

Волна воспоминанья гложет
Отлогий берег. Полночь бьет.
Еще один сочтен и прожит
Глухой материковый год.

Костры бессонных бивуаков,
Погудки северных ветров...
За стол, стаканами зазвякав,
И — будь здоров, Иван Петров!

Из всех сословных привилегий
Какая может быть честней,
Чем вечно числиться в побеге
От надвигающихся дней?

Какие предъявить к оплате
Нам может время векселя,
Когда мы не бежим объятий
Твоих, о мать сыра земля?

Еще мы не таких видали
По эскадронам усачей,
Еще и не такие дали
Слеза смывала из очей,

Внимали звезд морозным одам,
С кротовым ладили трудом,
И с новым годом полным ходом
В большое плаванье пойдем.

Зима заварит просяную
Крутую кашу непогод...
Я к старому тебя ревную,
Слепорожденный Новый год.
янв 1938

* * *

В каменных твоих острогах,
На больших твоих дорогах,
На разливах рек твоих,—
Как ни бейся, ни проси я,
Знаю, родина Россия,—
Я отвечу за двоих.

Словно злою волей движим,
По полям иду я рыжим,
По колючей по стерне
К голубеющим курганам,
Как в бреду. Тоска арканом
Горло сдавливает мне.

И как бы чужие ноги
К столбовой большой дороге
Все несут меня, несут,—
Словно я хочу явиться,

Как непойманный убийца,
Сам к себе на правый суд.

Затяни конец пеньковый
И гудящею подковой
Жаркого твоего коня
К большака сухому праху,
Кровью мне залив рубаху,
Гасмерть пригвозди меня.

Июнь 1941

* * *

В разгар вселенской непогоды,
С дыханьем размеря шаг,
Учись слагать немые оды,
Затаиваясь в камышах.

Учись у корневищ терпенью,
Чтоб передать ты мог холсту
Насыщенную звукотенью
Густеющую немоту.

Встают, как полный купол, годы.
Вражда с враждою на ножах
Во имя веры и свободы. . .
И трудный гул стоит в ушах. . .
Учись слагать немые оды,
Затаиваясь в камышах.

Ноябрь 1941

* * *

Я у источника от жажды помираю,
Не сплю, не вижу сны, дышу и не дышу,
И воздуха ищущу, и небо раздираю,
И счесываю звезд зудящую паршу.

Передо мной простор, как вражьи становище,
И некуда бежать — повсюду западни.
И ночи напролет, как Иов на гноище,
Я роюсь в памяти и забываю дни.

И раскаленные глотая расстоянья,
Где мерой времени исчислены пути,
Истерзан немотой, я слов для покаянья,
Одних-единственных, все не могу найти.

1939—1943

* * *

Пути конец. На землю ляг.
Плывут круги светил.
Не бойся.— Все свершится так,
Как рок тебе судил.

Ты был солдат. А пыль дорог
И ветра свист в ушах —
Все только сон. Покой высок. . .
Равнение и шаг!

А что неверия в себе
Не мог ты побороть,
Что ты противился судьбе,—
Тебе простит Господь.

И над холмом твоим трава
Чудесно будет цвести.
И ты найдешь свои права
На правду и на честь.

Окт. 1945

* * *

Изгладаны царства голодным законом,
И в звонкие полости воздух закован.
В какие колодцы ты дух окунал,
Что слепо по тропам бредешь назнакомым?
Твой поиск — за кем он? И сон твой — о ком он?
А годы за повод берут скакуна.

Май 1949

* * *

Из четырех в квартете всех прекрасней
Альтовый голос. В нем заключено
Роптанье совести. А в нас оно
День ото дня все глуше, все безгласней.

1971

* * *

Рожденным в суете стихам
Для жизни не набрать дыханья.
Оставь поэту созерцанье,—
Быть деятельным может хам.

1971

НАДПИСЬ НА МОГИЛЕ НЕИЗВЕСТНОГО ПОЭТА

*Lorsque, par un decre des puissances
suprêmes
Ze Poète apparâit en ce monde ennuye*

Baudelaire

Он не распят, но был и он расстрелян
За всех людей.
За всех... И вот — он там, где несть ни эллин,
Ни иудей.

Казнен без лишних глаз, перед рассветом,
Без лишних глаз...
За то, что был поэтом... Был поэтом...
За всех за нас.

1971—1972

* * *

В черной грязи, в белой пыли
Стоптано столько сапог.
Шли сапоги... На смерть, — а шли,
Сами шагали, без ног.

Черный палач белый калач
Держит, а руки в крови.
Бедный палач! Мама, не плачь!
Это ведь все от любви.

Черны дела. Совесть бела.
Только давным уж давно
Нету ее. А ведь была.
Что же в замену?— Говно.

Белая ночь. Черные дни.
Ладно, чего еще там. . .
Все отбери, лишь сохрани
Братство тюремное нам.

17 апреля 1973

ЭПИТАФИЯ

Прохожий, здесь покоюсь я.
Ты слышал про такого?
Я дар земного бытия
Истратил бесполоково.

И был, к несчастью моему,
Я взыскан муз любовью.
И даже угодил в тюрьму
За склонность к острословью.

Курил табак, любил собак.
Они меня — тем паче.
Прохожий, ты живи не так,
А как-нибудь иначе.

... И ДРУГИЕ ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЛИЦА.

Из газет

Официальные не знают лица,
Как неофициальным плохо спится
По тысяче различнейших причин,
Равно моральных, как и матерьяльных.
Оберегает лиц официальных
От тех причин их звание и чин.

* * *

Отродясь не бывал я в Швейцарии.
Знаю — сыр, шоколад и часы.
Но во всем, говорят, полушарии
Нет подобной природы красы.

Если жить мне наскучит когда-либо,
 Попрошу непременно, чтоб мне
 Помереть разрешение дали бы
 В этой сказочно дивной стране.

Там гордясь привилегией даденной
 И к красивым поступкам влеком,
 Закусил бы слегка шоколадиной
 И слезливым швейцарским сырком,

И в Женевское бросился б озеро,
 И в пучине его голубой
 Драгоценные часики Мозера
 Потопил бы я вместе с собой.

ВРЕМЕНА ГОДА

{Подражание Пушкину}

ЗИМА

Пробьет двенадцать на часах,
И дева прекратит гаданье,
И на морозное свиданье
Помчится в меховых трусах.

ВЕСНА

Пора любви и ожидания...
Призывы в птичьих голосах...
И дева в розовых трусах
Спешит на первое свиданье.

ЛЕТО

Заря не гаснет в небесах.
И вот прелестное создание
Идет на знойное свиданье
В багряно-огненных трусах.

ОСЕНЬ

На всем печаль и увяданье,
Багрянцем рдеет лист в лесах,
И дева в траурных трусах
Бредет с последнего свиданья.

* * *

Коли бульон, тогда уж с сельдереем,
Коли обедня, то с архиереем,
Коль протирать, то протирать с песком,
Коли дурак, то выбирать в местком.

О ФИЛЬТРАЦИИ ИНФОРМАЦИИ

Общеизвестно, что избыточная информация перегружает нервную систему трудящихся и препятствует выполнению ими своих прямых государственных функций. Наша партия и правительство с первых же дней установления власти рабочих и крестьян прилагали настойчивые усилия к тому, чтобы облегчить советских граждан от бремени излишней осведомленности. На этом пути достигнуты значительные и всем известные результаты. Работа эта постоянно за-

труднялась тем, что среди населения нашей страны всегда имелись, и сохранились вплоть до настоящего времени, отдельные, правда немногочисленные, граждане, наделенные нездоровым и глубоко чуждым интересам народа стремлением к пополнению своей информации. При этом такие элементы склонны собирать информацию, нисколько не сообразуясь с тем, насколько она полезна для собирающего, для окружающего населения и для государства в целом. Если, как

сказано, таких любителей сбора информации в нашей среде и немного, то все же их деятельность не должна недооцениваться, поскольку они обычно бывают наделены повышенной активностью не только в сборе информации, но и в ее распространении.

Если партии и правительству удалось добиться высокой степени осведомленности населения в тех вопросах, в которых ему не надлежит быть осведомленным, то этим мы обязаны не только четкой и слаженной работе нашего аппарата информации, но прежде всего — высокой сознательности советских людей, которые в своей лучшей, и притом наибольшей части сами не хотят знать ничего такого, что не должно быть ими известно.

Однако нельзя не признать, что круг информации, остающейся доступной решительно всем нашим гражданам, значительно шире того, который полностью отвечал бы высшим интересам государства и народа. Если мы можем с удовлетворением признать, что наша печать, кино, радио и телевидение почти идеально фильтруют информацию, передаваемую ими населению, то нельзя забывать, что эти источники, к сожалению, не являются единственными. Кроме них существуют еще и некоторые другие каналы, по которым поступает информация, при этом нередко немаловажная, не подвергающаяся никакой фильтрации. К таким каналам относятся в первую очередь собственные зрение, слух и обоняние граждан. Верно, упорная и целенаправленная воспитательная работа привела к тому, что граждане наши, в подавляющем своем большинстве, меньше верят информации, получаемой через эти органы, чем той, какую они получают в порядке регулируемого осведомления. Тем не менее собственные органы чувств все же приносят сведения, не всегда содействующие правильному пониманию действительности и часто являющиеся балластом для умственного багажа граждан,

а иногда и создающие помехи для требуемого от них отправления государственных и общественных функций.

С целью полного зарегулирования получаемой населением информации высшие партийные и правительственные инстанции признали необходимым с 1.....бря 19.... года ввести для всех граждан, начиная с 3-летнего возраста и выше, ношение зрительных, слуховых и обонятельных фильтров. Описание этих приборов и наставление к пользованию ими приводятся в специальном приложении к настоящему постановлению.

Зрительные, слуховые и обонятельные фильтры укрепляются на гражданах старше трехлетнего возраста в отделениях милиции по месту жительства специальной комиссией, в состав которой входят врачи-окулисты и отоназоларингологи, инженеры-электроники, представители отделов агитации и пропаганды местных партийных органов и представитель органов государственной безопасности. Крепление приборов на теле граждан печатывается государственной гербовой печатью.

Приборы снимаются с тела граждан после их смерти такой же комиссией, но без участия врачей-специалистов, на основании свидетельства о смерти, выданного в установленном порядке.

Самовольное снятие приборов при жизни карается по ст. . . . УК.

Зрительные, слуховые, обонятельные фильтры приобретаются гражданами для пожизненного ношения за свой счет, а для несовершеннолетних — за счет их родителей или (при отсутствии таковых) опекунов. Для воспитанников детских домов эти приборы приобретаются за счет государства, но стоимость их погашается носителями в течение первого года их работы по найму в несколько сроков, определяемых размером заработка.

1958—1962

Вступительная заметка и публикация
Н. КРАЙНЕВОЙ и В. САЖИНА.

Аманда АЙЗПУРИЕТЕ

УТЕРЯННАЯ ЕДИНСТВЕННОСТЬ

Читающий Вацietиса первый раз скорее всего решит, что в этой респектабельной книге представлены стихи из всех периодов творчества поэта, так как никаких объяснений по этому поводу не дается. На самом деле здесь Вацietис своего последнего десятилетия, стихи взяты из сборников «Антрацит» (1978), «Правописание молнии» (1980), «Си минор» (1982) и «Предначертание» (1985). Принцип, по которому книга составлена, расшифровать трудно: стихи, в одном сборнике стоявшие рядом, здесь часто поставлены в разных главах, а главы все равно рассыпаются на отдельные стихотворения. Так, например, в книге «Правописание молнии» за стихотворением «У Меркеля», в котором благодарная тишина у могилы человека, проникшегося болью чужого народа, следует стихотворение «От Меркеля», где уходит от этой могилы просветленный человек. Между этими двумя стихотворениями как бы незримо присутствует сам Гарлиб Меркель, хотя никаких его характеристик не дается — читатель должен сам о нем что-то знать или пожелать узнать. В этой книге стихотворения разобобщены и образ Меркеля поблек. (В примечании, кстати, он назван латышским просветителем, а ведь он был немцем и все свои работы писал по-немецки.)

Вацietис хранит чистоту слов. избегает лишних украшений, его прилагательные необходимы и необычны, нет общепринятых словосочетаний. И воз-

никает чувство недоверия к переводчику, когда читаешь: «Сок земли искрится, росным жемчугом стекает», или о том, что люди в старину пахли «медом, землею вспаханною, хлебом, крепким потом — не нафталином иль одеколоном, а их одежды пахли стариной и духом природы благосклонной, дымком седых языческих костров». Можем сравнить эти строки с подстрочным переводом. Вместо «росного жемчуга»: «Выходит наружу сумасшедший сок земли», а во втором фрагменте определений гораздо меньше и никакой «благосклонной природы». . . «И пахли они землей, хлебом, медом и потом — а не нафталином или одеколоном, а их одежда пахла древними временами и языческими божествами».

Очень многие стихотворения в переводе стали длиннее — больше слов, больше строчек; объясняется то, что в оригинале дано без разъяснений, вместо одного образа появляются несколько — с одной и той же функцией. Сравним еще несколько переводов с подстрочником. Если в стихотворении «Свой туман» поэт утверждает, что «без своего тумана все голо», в переводе читаем: «без своего тумана, без мерцания, без патины». В стихотворении «Это риск» в коротких фразах чувствуются напряжение и спешка. «Бреют дни как одинаковые стаканы со своей минеральной водицей. Пустыня без единого оазиса. Времена года. Без весен и осеней. Выглядят безоружными. Для чего сила? Какая тут смелость? И какой против них риск? В них можно задохнуться. И задыхаются». В переводе больше спокойствия, времени — и

Ояр Вацietис. Колодец детства: Стихи / Пер. с латыш. Т. Глушковой.— М.: Сов. писатель, 1988.

слов. «Дни звенят монотонно, унылой текут чередой. Как стаканы с бесцветной минеральной теплой водой. Без оазисов карта пустыни. Без весен и осеней годы. Без цветения и смерти немые картины природы. Безоружными кажутся. . . В чем же тут дерзость, героизм? И какой же тут риск — окружать это сонное войско? . . . Только можно ведь и задохнуться, дыша ядовитым, духовитым угарцем, юта теплою безобидным!» А вот «Блюз северянина», суть которого раскрывается в столкновении весьма простых и немножко даже косноязычных предложений. «Что мне орхидеи, лианы и великолепный лотос — в северных ночных фиалках у меня начинался сын. В скупой земле севера, в единственной, святой, дорогой, и в зеленой еловой хвое у меня кончится жизнь». Именно так, грамматически одинаково: у меня начался сын — у меня кончится жизнь. В переводе эта одинаковость утеряна в рассыпях слов: «Что мне орхидеи, драгоценный лотос, гибкие лианы, цитрус золотой?— Среди ночных фиалок северною ночью сын мой začínался, был я молодой! В северной, священной, скудной, каменистой — лучшей в целом свете!— прадедов земле под зеленой хвоей, елям молчаливым и лиловым вереском кончу я свой век».

Вряд ли такие изменения — вернее, дополнения — можно оправдать спецификой стихотворного перевода, желанием сохранить форму или звучание оригинала. В верлибрах Вацциетиса действительно много созвучий, часто весьма сложная звукопись, но при всей своей сложности она ненавязчива. Поэт ищет созвучность не на уровне окончаний слов, а в корнях. Во многом его рифма похожа на рифму Маяковского — только в отличие от последней она не выходит на передний план. Чаще всего она осознанно неточная, часто рифмуются слова разной длины, как в стихотворении «Ледяной юг» «zákstu — náks», «záiimi — visláimigákais», и от этих странных рифм стихотворение, выдержанное в строгом 5-стопном ямбе, становится беспокойным и необычным. В переводе — привычные и скучноватые рифмы: «льдов — цветов», «звонов — тронов». . . И именно ради таких привычных рифм иногда появляются добавления к тексту ори-

гинала, как в этой концовке стихотворения: «Умрет вся сущая, бывшая, жизнь несущая, на горизонте растущая, будущая любовь, сердце земли умолкнет. Заледенеет кровь». В оригинале короче, без напыщенного накопления зарифмованных причастий: «. . . умрут все бывшие, существующие, будущие любви. И у земли остановится сердце». Через несколько страниц опять в конце стихотворения «Заграждения» стоит эта надоевшая пара «любое — кровь». Стихотворение про старые раны в глубинах народной памяти. «Забыть? но забыть значит — не любить. А мы родились любить». И перевод: «Забыть их — но это бы значило: нет в нашем сердце любви. А мы родились любить. Это у нас в крови».

Вацциетис полагается на исключительность избранного им единственно слова, на то, что оно — достаточно сильно, или, вернее, что оно под достаточно сильным напряжением всего стихотворения. Читатель должен думать и чувствовать вместе с поэтом — и не ждать разжеванной мысли и пространно объясненного чувства. Яркость слов стиха — от лаконизма, от неожиданности и даже спорности. Всем этим они необычны, и когда их переводят на обычное, они теряют слишком многое.

Близость Вацциетиса к традиции Маяковского не только в рифмах, но и в азартном созидании новых форм слова, в «новой грамматике» для каждого отдельного стихотворения. Именно на русский, казалось бы, эти особенности легко перевести. Но в переводах Татьяны Глушковой не только рифмы, но и язык безупречен, соответствующий общим нормам грамматики. В оригинале: «Сквозь все «около» и «наверно» я все же иногда сам догадываюсь, что и во мне есть времена года». И перевод — не только на другой язык, но и на другое мышление: «Играет мною зыбкая погода. И вот порой догадка промелькнет: свой календарь внушает мне природа». Или другой пример: «И страшно, что сейчас, прямо сразу все заплесневет привычностью». Переведено так: «И страшно: а вдруг заплесневет она, новизна, мхом зарастет, потускнеет. . .»

И еще одно имя из русской поэзии, которое назвал сам Вацциетис. Стихотворение — посвящение «Сергею Есе-

нину». В переводе почему-то «Сергей Есенин», но главное — перевод и оригинал сильно отличаются стилистически. Вацетис великолепно перевел на латышский и «Пускай ты выпита другим. . .», и «Быть поэтом — это значит. . .» и несомненно в этом посвящении пользовался есенинским сближением противоположностей. Начало стихотворения как бы отталкивается от «Пускай ты выпита другим». «Ты не можешь быть выпита другим, если я рождаюсь дьявольским и божественным, если я рождаюсь чистым, как вера, Россия светлых волос и белых берез». И перевод: «Ты не можешь быть выпита кем-нибудь иным, другим, если, дьявольски чист, если ясен, как верность, я вхожу в белоствольно-березовый дым, белокурая русская вечность». Все различия — будто бы незначительные, — но четкая и напряженная до предела строчка становится многословной и неесенинской. «Сколько умеешь ты, столько умею и я, насколько ты будешь, настолько буду и я — в моем самом бешеном бешенстве и насколько ты тихая бездна. Пусть будет правда, пусть не будет лжи. Рождаюсь, чтобы меня любили и обманывали». И перевод: «Что под силу тебе, то под силу окажется мне, я нетленен, как ты, под извечным твоим небосклоном — в самом буйном разгуле твоём — в самом темном огне и в молчании, самом бездонном. Знаю, правда взойдет над обманами краткого дня, в поединке с любовью коварство, я знаю, бес- сильно. . .»

На мой взгляд, все приведенные примеры говорят об одном. Наверное, существует внутри поэзии такой закон, что одно слово бывает сильнее трех. То, что в старые времена жены купались «в дегте омота и кувшинках из снега прямо как полуведьмы», впечатляет больше, чем «как дивные русалки, полуведьмы». И недоговоренность — необходимая составная часть поэзии, и не стоит пытаться заранее истолковать все сны, если просто упомянуто, что они будут — как в стихотворении «Лето по уши в июле». «Бери грабли, бери вилы и луг бери и властуй, подданные, соратники найдутся, и ты увидишь, как сладко пахнет земля, после того прокоса ночью приснятся сны». Переведено это так: «Взмах косы — и ниц ложатся,

низко кланяются травы, а косарь — что царь державы луговой. . . Стога круглятся. И во сне тебе приснится твой валок, твоя копенка, сладковейная дулица, колокольчик синезонный. . .» Почему-то кажется, что поэт обещал другие сны.

Я. Шкапарс в статье «Конфликт трех сыновей» («Родник», 1988, № 2 и 3) ищет место латышской литературы в литературном процессе всего Советского Союза. И он ставит вопрос: «Почему к многим народам вышла «Плаха», выходят «Письма мертвого человека» и «Покаяние», почему «Предначертание» знают только несколько (может — много?) тысяч латышей? «Предначертание» — это не украшение гостиной, не доморощенное читиво. Это — кровью начертанная «Красная книга» человечества, к тому же большинство стихов на выдающемся художественном уровне. Где причины столь различного резонанса равноценных художественных произведений?»

На свой вопрос Я. Шкапарс сам дает несколько ответов, но главную причину видит в провинциализме нашей культуры и ее «неприбранности», а также в самой специфике коротких стихотворений, в условности структурного единства сборника. Кажется, нужно добавить еще одну существенную причину того, что поэзия Вацетиса пока не получила широкого признания читателей за пределами Латвии и латышского языка. Это — различие между поэтическими традициями, иллюстрацией к которому может служить и рецензируемый сборник. Русский читатель весьма настроенно относится к той поэзии, в которой нет традиционных стихотворных размеров и строф, и ожидает возмещения их отсутствия повышенной поэтичностью лексики, чтобы поверить, что это действительно стихи, а не проза, записанная столбиком. И переводчики часто с большим пониманием относятся к этой настроенности читателя и даже разделяют ее.

Нельзя сказать, что «Колодец детства» — плохая книга. Просто она создает впечатление об Юрсе Вацетисе как о хорошем поэте — одном из многих, похожем на многих. А хотелось бы и в переводе ощутить его единственность.

ЗАЧЕМ НОАСУ НОЕВ КОВЧЕГ?

СУБЪЕКТИВНЫЕ ЗАМЕТКИ, ИЛИ НЕСКОЛЬКО ВОПРОСОВ РЕЦЕНЗЕНТАМ И ИССЛЕДОВАТЕЛЯМ ТВОРЧЕСТВА З. СКУИНЫША ОТНОСИТЕЛЬНО РОМАНА «КРОВАТЬ С ЗОЛОТОЙ НОЖКОЙ»

Зигмунд Скуиньш мастер задавать загадки, на которые наши критики и рецензенты либо не хотят, либо не могут ответить. Его роман «Мемуары молодого человека» появился в разгар последней, будем надеяться самой последней, дискуссии о положительном герое, но разобратся, положительный или отрицательный его герой Калвис, не удалось ни читателям, ни критикам. Посмотришь так — вроде бы положительный, этак — самый что ни на есть отрицательный. А в общем обыкновенный юноша со своими плюсами и минусами, и роман по-видимому тем и интересен, что этого юношу ни в положительные, ни в отрицательные не запишешь.

Новый роман Скуиньша «Кровать с золотой ножкой» читается с большим интересом, для латышской литературы это что-то новое и неожиданное. А задумаешься, опять загадка на загадке. И вопросы повисают в воздухе. Ну вот хотя бы в чем его новизна, чем он неожиданен и почему привлекает читателя? Критика об этом молчит. Рецензенты поплевали на поверхности и перышки отряхнули. Поговорили об отражении латышской жизни и истории, о том, чем роман похож на семейную хронику и чем отличается, а вглубь заглянуть побоялись. И почему-то никто не обратил внимания на одно обстоятельство — роман этот появился на гребне очередной волны (прямо девятый вал) латышского национального самосознания. Случайно ли или есть здесь какая-то взаимо-

связь? Наверное, есть, должна быть, но об этом чуть ниже.

Мне вспомнилось выступление одного латышского критика (фамилию не расслышал, он выступал по радио): накануне республиканского съезда писателей он заявил на мой взгляд совершенно абсурдную вещь. Цитирую по памяти: произведения латышских писателей никогда не надо анализировать в контексте всей многонациональной советской литературы и уж ни в коем разе их не следует рассматривать в контексте мировой литературы. А почему собственно? Зачем же искусственно «удерживать» «Кровать с золотой ножкой» в рамках латышской литературы, если, читая роман, ловишь себя на мысли, что он чем-то близок или по крайней мере воскрешает в памяти романы «Сто лет одиночества» Маркеса, «Особняк» Фолкнера и «Чужой» Камю?

И Маркес, и Фолкнер, и Камю оказывали влияние на мировую литературу, и в том числе на советскую. Почему же надо умалчивать, что в нашем восприятии возникают пусть даже очень незначительные, пусть даже кажущиеся, параллели между их произведениями и романом Скуиньша?

Сто лет прожила на свете Леонтина, дочь Ноаса, одна из главных героинь романа Скуиньша. Сто лет одиночества стали трагедией этой энергичной, любящей жизнь и умеющей жить женщины, и трагедией Эдуарда, посвятившего себя несбыточным идеалам революции, и само-

го Ноаса. А не напоминает ли трагедия последних лет жизни Эдуарда судьбу осужденного за нелепое убийство Мерсо, героя романа Камю? Или как быть с библейской легендой о Ноевом ковчеге, отголоски которой так явно слышны в романе Скуиньша? Это, так сказать, только внешние точки соприкосновения. Если бы критики, написавшие уже не одну и не две статьи о «Кровати с золотой ножкой», приняли бы их во внимание и пошли дальше вглубь, читатель от этого только выиграл бы и латышская критика, между прочим, тоже.

Зачем Ноасу Ноев ковчег — вопрос не риторический. Да, Ноас, как уже догадался всеведущий читатель,— это Ной. Переводчик, надо думать, не по ошибке, а умышленно сохранил в русском тексте латышское написание ветхозаветного имени. В этом был резон. Роман Скуиньша многозначен и многослоен, поэтому имя персонажа, с которого в романе по сути дела все начинается, должно быть хоть как-то закодировано. Иначе многое сразу стало бы восприниматься однолинейно и упрощенно. К тому же Ноас личность вовсе не мифическая, а скорее реально существовавшая. Таких мореходов на побережье Балтийского моря в ту пору было немало.

Вообще с именами в романе не все так просто, как это может показаться с первого взгляда. Если приглядеться к родословной Взягалов, приложенной к роману, обнаружатся любопытные исторические и мифологические параллели, тесно связанные с логикой событий романа. Тот же Ноас, то бишь Ной, не просто капитан и строитель парусных кораблей, он же родоначальник целой ветви жизнестойких, упорных и свободолюбивых Взягалов... Но коль уж существует Ной, очевидно должен быть и Ноев ковчег? Как же без него? Традиция есть традиция, от нее не уйдешь. И скорее всего это не один из парусников Ноаса, а нечто более серьезное, корнями гнездящееся в библейской легенде. Может быть, в поисках этого ковчега, а не золотой ножки топчана, и раскроется сущность замысла романа Скуиньша.

Конечно, проще простого отмахнуться от этого ковчега. Нет его в

романе и дело с концом, зачем искать то, чего нет. Но ведь золотой ножки от кровати в романе тоже нет. А ищут. И герои романа, и читатели, и критики. Можно объяснить ее отсутствие тем, что, дескать, не все золото, что блестит: Ноас закопал другое богатство — полный набор добротных плотницких инструментов. И это будет верно. Но... что, если с вынесенной в название книги золотой ножкой связано большее, чем клад? Скуиньш не только блестящий стилист, но и мастер по части иронии. Ирония играет в его романах важную роль. Может быть, в золотой ножке скрыт своего рода иронический ключ? Вы прочитываете роман, находите вместо золота плотницкие принадлежности, соотносите этот знаменательный сам по себе факт с заглавием романа и мысленно, уже в совершенно ином ключе, как бы заново прочитываете весь роман. Возможно такое решение загадки?

Как мы видим, не все так просто в романе «Кровать с золотой ножкой». И неспроста, не ради литературной игры автор на историческую канву повествования накладывает своеобразную сетку-матрицу мифологических образов и сюжетов. Ведь что происходит? «Зацепившись» за Ноаса, открыв в нем Ноя со всеми вытекающими отсюда последствиями, мы идем дальше. Пусть интуитивно и неосознанно, но мы увязываем героев романа и их судьбы не только с двухсотлетней историей латышского рода. Исторические события, латышские народные традиции, предания и легенды в нашем восприятии сплетаются в сложное единство с еще более давним прошлым. В орбиту романа включаются, таким образом, исторический и нравственный опыт других времен и народов.

В начале романа бегло упоминаются предки Ноаса, затем всплывает имя Либиса, отца Ноаса и Августа. Его имя положено в основу составленной автором «Родословной росписи Взягалов». И сразу память выдает короткую справку. Имя Либис созвучно Либитине, римской богине похорон, сменяемости поколений, рождений и смертей. Казалось бы, автор использовал его лишь затем, чтобы обозначить некую точку от-

счета, начало начал, символический знак. На самом деле все несколько сложнее. С именем Либиса в романе начинает звучать трагическая нота, «мотив смерти», связанный с распространенным у патышей культом кладбищ и памяти об усопших предках. Это имя как бы напоминает нам о том, что история не накапанная дорога, много на ней бед, несчастий и трагедий. И в романе их тоже достаточно, но трагическая нота не будет в нем доминировать. Автор постоянно заглушает ее иронией, шуткой, юмором, стремясь, по его же словам, излагать события так, «чтобы было над чем посмеяться, и поплакать, и поразмышлять».

Для Скуиньша вообще характерен иронично-философский взгляд на жизнь и историю. Ирония для него (к сожалению, не всегда удачно переданная переводчиком) это и свойство ума или, так сказать, состояние души, и литературный прием, с помощью которого ему очень искусно удается сочетать частное с целым, сопрягая судьбы своих героев со сложными и противоречивыми историческими процессами. Заметьте, в романе о тяжелой, часто разрушающей человеческую личность поступи истории редко говорится прямо, в лоб. Чаще недомолвками, намеками, подтекстами — автор усмехнется и этого достаточно, чтобы у читателя возникла аналогия, ассоциативная цепочка. Чтобы ее удержать и направить в нужное русло, используется и «игра с именами».

Расшифровывать все имена мы здесь не будем, да и не все они «закодированы», — этим займются исследователи творчества Скуиньша. Попутно раскроем лишь некоторые значения имен.

Братья Ноас и Август — антиподы. Даже их дом, называемый Крепостью, «крепок» лишь внешне. На самом деле под общей крышей объединены два обособленных, чуть ли не враждующих между собой дома. Если Ноас в душе авантюрист, непоседа и путешественник, ищущий чего-то нового и необычного, Август — натура далеко не творческая. Соответственно своему монаршему имени он предан традициям и вековым устоям. Август — земледелец, мировосприятие его сужено и замк-

нуто, как у средневекового селянина, границами своего хозяйства, хутора. Недаром Ноас отзывается о нем с пренебрежением: он, дескать, «дальше вспаханной борозды ничего не видит». В свою очередь Август о Ноасовых новшествах говорит с усмешкой и недоверием. Перемен он не любит и боится, главное для него постоянство и стабильность. Это тип героя, широко распространенного в латышской литературе и весьма для нее характерного.

Не характерен Ноас, не характерны для латышской прозы образы его дочери Леонтины, Эдуарда, Индрикиса — практически все, кто составляет Ноасову ветвь в родословной Взягалов. Собственно их жизнеописание, их позиции и связанные с ними коллизии выделяют роман Скуиньша среди произведений латышских авторов последних лет. Да и симпатию читателя (автора, пожалуй, тоже) среди почти сорока персонажей вызывают именно Ноас, его дети и внуки.

Почему? Объяснить это можно их инициативностью, стремлением подчинить себе обстоятельства, их апассионарностью. И тем, что они «вылеплены» интереснее других персонажей. Еще — и это главное — их мужеством и настойчивостью, с которой они борются за сохранение своего... Вот тут и просится это слово — ковчега. Ноева ковчега.

О том, что в романе присутствует идея Ноева ковчега, говорит многое. Как только потянешь эту ниточку, всплывает в первую очередь корабль Ноаса. Потом Крепость и выстроенный Ноасом в городе Особняк (опять же с заглавной буквы), или выпорхнувшего из заготовленного Ноасом гроба голубя. Есть и другие аналогии, приметы, на которые наталкивает читателя автор. Но это лишь зарубки, указующие путь и верное направление поиска той главенствующей мысли, которая заставила автора взяться за перо и одного из своих героев назвать Ноасом.

Вот две цитаты: «Геракл чистил конюшни, душил гидр и совершал множество других героических поступков, чтобы жизнь стала лучше и прекраснее». И вторая: «Так мы и пытаемся плыть вперед, борясь с течением, а оно все сносит и сносит

наши суденышки обратно в прошлое». Мы забыли о них, читая роман. Первая из школьного сочинения, вторая из Фицджеральда, это эпиграф к «Кровати с золотой ножкой». Каждый из героев романа мог бы сказать то же самое применительно к себе. И Ноас, и Август, и...

Кстати, твердость духа, упорство, способность твердо стоять на земле, свойственно не только Ноасову племени. Август, его дети и дети детей ничуть не хуже. Вон как они не раз и не два почти из пепла восстанавливали, практически заново строили свою Крепость и трудятся не покладая рук на своей земле. Линия Августа связана с темой легкой судьбы латышского земледельца, и автор эту тему разрабатывает любовно и тщательно. Только... Обратите внимание: своя Крепость, своя земля, своя семья и опять же — ничего дальше вспаханной борозды не видит или видеть не хотят. Не звучит ли здесь еще один мотив, обнажающий большую проблему: замкнутость, ограниченность своего мирка, слепое следование давним традициям, от которого два шага до национальной обособленности, изоляционизма, нежелания раздвинуть рамки своего кругозора.

Сколько ни чисть конюшни, а выбраться из навозной жижи, если топчешься на одном месте, не удастся. И не случайно суденышки наши течение сносит назад. Очень широко можно толковать эпиграф к роману, но есть в нем и доля иронии. Проблема национального достоинства и самосознания безусловно волнует Скуиньша. Но он понимает, что на современном материале решить ее невозможно. И привлечение исторического материала, воскрешение прошлого как прикладной иллюстрации — это тоже не аргумент, потому что происходит подмена чего-то очень важного наносным и второстепенным. Сделав основные вехи истории своего народа фактами биографии героев романа, автор стремится как можно шире раздвинуть не только временные, но и пространственные рамки повествования. Это дает возможность автору изменить угол зрения: он показывает мир своих соотечественников не из-

нутри, а извне, — показывает его как часть целого, как компонент большого мира. И сразу иначе, шире раскрываются такие понятия, как чувство родины, национального достоинства, гордости за свой народ, верности идеям и идеалам революции (Эдуард) и, с другой стороны, измена своим принципам и крушение личности (Индрикис). Раздвинув узкие национальные рамки мировосприятия, Скуиньш рассматривает описываемые события уже не в житейски бытовом аспекте, а в философско-этическом.

И что интересно, меняется угол зрения не героев или повествователя, а читателя. В Зунте все идет своим чередом, кипит жизнь, зунтяне богатеют и разоряются, обитатели Крепости и Особняка занимаются каждый своим делом. Но вот мы читаем главы о жизни Эдуарда в Америке, и его родной город перестает существовать как замкнутый мир. Для нас это уже точка на карте, мы видим ее издаലെка. Не глазами Эдуарда, а через призму того, чем он живет, чего добивается, за что болеет.

К такому восприятию латышской жизни автор подталкивает нас всем ходом действия, как будто умышленно создавая эти расстояния и постоянно меняя перспективу. Ноас бороздит моря и океаны, Леонтина выходит замуж за русского помещика, и возвращаясь после смерти мужа на родину, привозит сына (русского? латыша?). Марта попадает в Москву. Безымянная внучка Ноаса оказывается в Германии, где попадает на скамью подсудимых как член банды Баадер-Майнхоф, потом бежит из тюрьмы и становится «одной из видных активисток движения против размещения в Европе першингов и крылатых ракет». Индрикис эмигрирует во время войны в Англию... Какой клубок противоречий, сколько в этом горькой иронии! И все время меняется перспектива — временная, пространственная и нравственная.

Есть в романе фраза, на первый взгляд несколько странная: «Завоевать победу — означало вернуться домой». Произносит ее Эдуард, для которого прежде понятие о победе связывалось со свержением царизма и мировой революцией. Побе-

дить — значит вернуться. Что это? Тоска по родине? Нет, не только тоска. Все, что произошло с ним в Суаресе — арест и тюрьма, а затем в Москве — арест и сталинские лагеря, психологически и нравственно было как бы запрограммировано раньше, когда победы политические и какие угодно еще не имели ничего общего с мыслью о возвращении. Его соотечественник Си-линьш, тоже профессиональный революционер, на нелегальном партийном съезде в Мичигане горько заметил: «Вот говорят — утопист Сен-Симон, утопист Фурье. А я тебе скажу, список этот можно дополнить. Я тоже, оказывается, был утопистом». В этом — корни трагедии многих революционеров. Их одержимость и слепая вера в идею мировой революции обернулась потом, когда они потеряли способность контролировать саму идею и ее следствия, в причину их гибели.

И второе: действия Эдуарда и вся его кипучая деятельность в Америке не давали сбой до тех пор, пока он не ощутил, что память о родине, тяга к ней иссякла, сменилась усталостью. Тут и начались его беды. Нить, связующая с родовыми корнями Взягалов, прервалась, что-то остановилось в нем и покатило в спясть.

Главы романа, посвященные жизни Эдуарда на чужбине, сперва в Европе, затем в Америке, пожалуй, наиболее яркие и запоминающиеся в романе. Во всяком случае, впечатление они оставляют сильное. И не потому лишь, что Скуиньша удалось показать незаурядный характер своего героя. Здесь важно другое. В этих главах наиболее полно проявилась мысль о том, какую роль в судьбе человека играет осознание — нет, не национальной принадлежности, не тяги к земле и т. н. малой родине, а нечто более важное — осознание родовых корней, чувство родового начала. Оно формирует тип человека, питает любовь к родине, осмысленное, трезвое от-

ношение к ее культуре, традициям и самому себе. Как только рвется эта связь — личность человека начинает разрушаться и он гибнет.

Погибает Индрикис, улетевший на воздушном шаре, в немецком мундире, в Англию. Иначе, совсем другому прожив жизнь, но тоже гибнет Эдуард. А Леонтина, неутомная Леонтина, глубокой старухой смело и решительно (кстати, имя ее на латыни означает «львиная») борется с местными функционерами за сохранение кладбища, где покоятся ее предки. И, как подобает Взягалам, выигрывает эту последнюю на ее веку схватку с жизнью.

Все это в романе Скуиньша — явления одного ряда, потому что в основе их лежит отношение к своим родовым корням. Вот она — идея Ноева ковчега в романе «Кровать с золотой ножкой». Родовые корни. Для Ноаса и его потомков это не просто компас, указующий путь домой, хотя для каждого из них вернуться означало победить. Ноев ковчег для Ноаса был нравственным чувством, обладая которым невозможно заблудиться во времени и пространстве.

Зачем Ноасу Ноев ковчег — вопрос, как видим, действительно не риторический. Но ответом на него не исчерпывается значение романа Скуиньша. Облик тем, проблемы, которые затрагивает автор, разветвленность сюжетных линий требуют более тщательного и всестороннего изучения. И критика этим рано или поздно должна будет заняться — как-никак «Кровать с золотой ножкой» занимает особое место и в творчестве Скуиньша, и в современной латышской литературе. Есть в нем, очевидно, свои недостатки, местами кажется, автора кто-то подхлестывает, торопит, поэтому некоторые эпизоды написаны небрежно, наспех. Но есть и стремление, вернее удачная попытка по-новому взглянуть на прошлое, заново осмыслить исторические пути и судьбы латышского народа.

ВСПОМНИМ СЕМЬЮ СЛЕПКОВЫХ . . .

В журнале «Даугава» публикуются воспоминания Е. Гинзбург «Крутой маршрут». Это впечатляющий исторический документ, который будет много значить для читателей, историков как свидетельство очевидца. В этой связи представляется целесообразным учесть следующие замечания. Е. Гинзбург пишет: «... у некоторых из них вся оппозиция заключалась в какой-нибудь еще не апробированной мысли по вопросам теории, как, скажем, у Василия Слепкова в «Проблемах методологии естествознания». («Даугава», 1988 г. № 7, с. 49). Можно ли согласиться с Е. Гинзбург? Ведь Василий Николаевич Слепков был генетиком, активным противником Лысенко. Еще в 1926 г. В. Слепков написал книгу по генетике. Он был сторонником классической генетики

Кроме того, В. Слепков, как и его братья Александр и Владимир, был сознательным, активным противником сталинщины. Он подписал письмо М. Рютина против тирании Сталина. О братьях Слепковых можно прочесть в «Комсомольской правде» от 9.07.1988 г. в статье «Могу вспоминать не таясь».

Я знала В. Слепкова с детства. Думаю, что Е. Гинзбург не знала о научной и политической деятельности Слепкова.

Жена В. Слепкова провела в заключении 15 лет, у нее выросли дети, внуки, но Евгения осталась такой же убежденной в деле Ленина, как в те годы, когда была комсомолкой. Она помнит, как на большой даче в Покровском-Стрешневе, где жил Александр Слепков, собирались ученики и сторонники Бухарина, которые сотрудничали с М. Рютиным. Там бывали и работники Коминтерна: венгры, немцы, которые стремились к консолидации сил против нарождающегося фашизма, но Сталин им отказал в поддержке. А. Слепков был одним из организаторов, авторитетных лидеров. Он был первым редактором «Комсомольской правды», работал в «Правде», «Известиях». Сталин безуспешно пытался перетянуть его на свою сторону: предлагал стать секретарем ЦК. Александр Слепков и его жена Галина погибли в тюрьме. Сын погиб на фронте. Младший из братьев, Владимир, также погиб в тюрьме.

Василий Николаевич Слепков был талантливым ученым-генетиком. Он окончил Ленинградский университет, Институт красной профессуры. Сын рязанского крестьянина, он остро переживал жестокость коллективизации, ведь и его как партийца посылали проверять ход коллективизации. Первый раз его арестовали в 1932 году, после подписания письма М. Рютина. В последние годы В. Слепкову не давали работать даже грузчиком. Семья жила впроголодь. И все же он продолжал научные исследования: работал дома с микроскопом, пока не пришлось его продать, чтобы прокормить семью. Он писал книгу по генетике до самого последнего дня перед арестом. Рукопись пропала после ареста жены Слепкова Евгении. В. Н. Слепков реабилитирован посмертно. Нужно, чтобы о нем знали правду. Ее уже не многие помнят. Поэтому представляется, что публикация «Крутого маршрута» целесообразно дополнить примечаниями о личности В. Слепкова

ИОФФЕ Мария Григорьевна
Москва

РАДИ ЗДОРОВЬЯ ГОРОДА

Изложенный материал в статье Б. Голубева «Сточная канава Юрмалы» в 6-м номере журнала «Даугава» правильно отражает критическое экологическое состояние реки Лиелупе и воздушного бассейна вокруг Слокского целлюлозно-бумажного завода.

Горисполком полностью разделяет тревогу автора и благодарит его за оказанную помощь в борьбе с загрязнением окружающей среды. Узковедомственные интересы пока выше вопроса самого существования города-курорта и здоровья людей.

Постановлением Совета Министров республики выпуск целлюлозы на Слокском ЦБЗ будет прекращен с 1989 года и с 1990 года завод должен быть перепрофилирован на экологически чистое производство.

В. А. ДЗЕБАЛИС,
первый заместитель председателя исполкома Юрмалы

ДАВАЙТЕ СПОРИТЬ

Уважаемая редакция!

В шестом номере «Даугавы» Юрий Буртин предлагает предоставить гражданам СССР право печатно оспорить любую публикацию прессы.

Я не знаю, почему данная статья Ю. Буртина появилась именно в «Даугаве», а, скажем, не в «Новом мире» с его огромным тиражом. Но все же не означает ли появление в вашем журнале этой статьи, что «Даугава» решила предоставить своим читателям право печатно оспаривать свои публикации? Верна ли моя догадка? Или содержание статьи не связано с намерениями редакции?

С уважением О. ЧЕРНАКОВ,
Вологда

Уважаемый тов. Чернаков!

Статья Ю. Буртина появилась в нашем журнале прежде всего по желанию автора у нас ее опубликовать, а также потому, что мы разделяем точку зрения Буртина. Было ли у нас намерение тем самым открыть дискуссионный клуб в «Даугаве» или, как Вы пишете, предоставить своим читателям право оспаривать свои публикации? Ничего специального мы не затевали. Но, естественно, у читателя всегда есть право оспорить наши материалы в нашем же журнале.

Авторы снимков в тексте: Мара Брашмане, Харийс Бурмейстарс, Айварс Лиепиньш

На первой и четвертой страницах обложки: Иван Пуни. Гимнастка и жонглер. Фрагменты. 1917—1919 годы

Фото Мары Брашмане

Сдано в набор 09.09.88.

Подписано к печати 6.10.88. ЯТ 00139.

Формат 60×90/16. Типогр. бумага № 1,

мелованная бумага. Офсетная печать.

8,0+0,25+0,25 усл.-печ. л., 12,75 усл. кр.-отт.,

10,04 уч.-изд. л. Тираж 47 000.

Заказ № 1199. Цена 45 коп.

Адрес редакции: 226081, Рига, ГСП,

Баласта дамбис, 3.

Телефоны: гл. редактор 466049,

зам. гл. редактора 465913,

отв. секретарь 465996,

отд. прозы 465992,

отд. поэзии 465998,

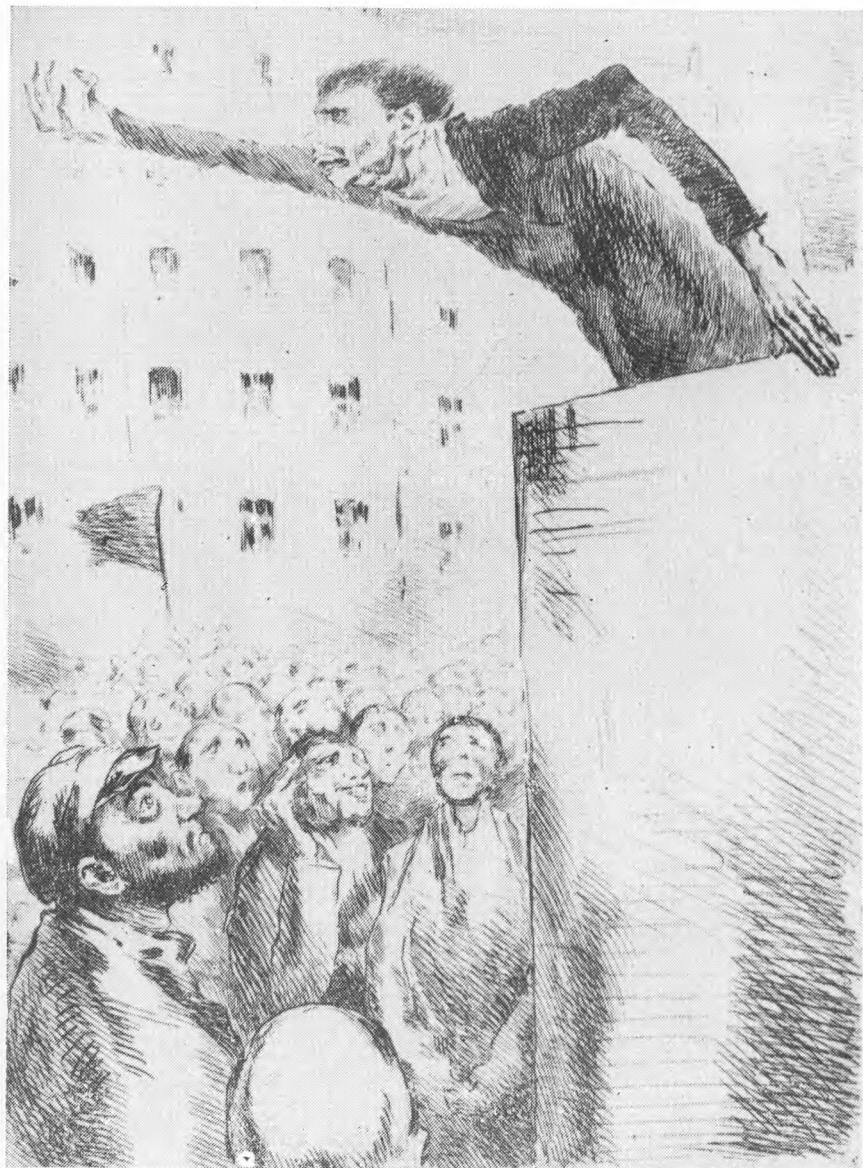
отд. критики и публицистики 465990,

техн. секретарь 465993.

Отпечатано в тип. Издательства ЦК КП Латвии,
226081, Рига, Баласта дамбис, 3.

Технический редактор
Мудите АРАЯ.

Корректор
Любовь СОКОЛОВСКАЯ.



Василий Масютин. Агитатор.

Фото Мары Брашмане



Василий Шухаев. Натюрморт со сновородной. 1921 год.



Густавс Клуцис. В кремлевском саду. 1918 год



Александр Древинь. Автопортрет. 1924 год

Фото Мары Брашмане



Густав Клуцис. Пушечное мясо. 1921 год

